

# ВАЛЕРИЯ ВЕРБИНИНА



*Эхо возмездия*



*Приключения баронессы Корф*

Амалия – секретный агент императора

Валерия Вербинина

**Эхо возмездия**

«Автор»

2016

УДК 821.161.1-312.4  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Вербинина В.**

Эхо возмездия / В. Вербинина — «Автор», 2016 — (Амалия — секретный агент императора)

ISBN 978-5-699-86937-4

Все были уверены – баронесса Амалия Корф сняла усадьбу в провинции потому, что ее больному дяде Казимиру доктора порекомендовали именно здешний климат. И мало кто догадывался об истинной цели ее прибытия... Неожиданно все планы Амалии спутало трагическое происшествие – гибель студента Дмитрия Колозина. Дмитрия обвиняли в страшном преступлении – убийстве семьи его квартирной хозяйки, – но он уверял всех в своей невинности. На сторону обвиняемого стал известный журналист Снегирев, он и добился освобождения Колозина. Студент явился лично поблагодарить своего благодетеля, но в ночь после званого вечера в доме журналиста его застрелили... Как нарочно, Амалия присутствовала на приеме и невольно оказалась втянута в это дело. Она как никто заинтересована в скорейшем расследовании смерти студента, чтобы следствие не помешало ее истинной миссии...

УДК 821.161.1-312.4  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-86937-4

© Вербинина В., 2016  
© Автор, 2016

# Содержание

Глава 1	6
Глава 2	10
Глава 3	15
Глава 4	19
Глава 5	22
Глава 6	29
Глава 7	33
Конец ознакомительного фрагмента.	37

# **Валерия Вербина**

## **Эхо возмездия**

© Вербина В., 2016

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016

\* \* \*

## Глава 1

### Пасьянс, который не удался

Доктор Волин не любил осени. Дни, когда листва становится золотой, когда солнце, нечасто выглядывающее из-за облаков, светит по-особенному нежно и щемяще, когда птицы собираются в стаи, чтобы улетать, и природа готовится к зиме, – эти дни, прославленные столькими поэтами, означали для него лишь грозное увеличение числа простудных заболеваний, среди которых непременно встретится пара запущенных случаев воспаления легких, с которыми придется повозиться. Он не любил коварства осенней погоды, которая то приголубит, то остудит. Как аккуратиста, его раздражала грязь на калошах, уездные дороги, кое-где превращающиеся в форменное месиво, и невыразимо унылый вид, какой приобретают облетевшие деревья в пасмурный день. Скрепя сердце, доктор еще готов был мириться с ранней осенью – самой очаровательной ее порой, которую называют «бабьим летом»; но и тут Георгий Арсеньевич чувал подвох. Ведь бабье лето вовсе не лето, и вообще, если разобраться, в нем ничего нет, кроме обмана. Просто несколько теплых дней, которые мало что значат и, уж конечно, ничего не могут изменить. Потому что осень – вот она, и, если холода ударят внезапно, в земской больнице опять не будет хватать коек для всех заболевших. И опять ему придется хлопотать, унижаться, писать бесполезные письма в управу, а долгими одинокими вечерами, сидя в своем домике возле больницы, смотреть на сумерки за окном и чувствовать опустошенность, знакомую всякому, кто понимает, что его хлопоты тщетны, и все равно продолжает бороться, несмотря ни на что.

Обо всем этом доктор Волин размышлял по пути к Одинцовым, куда его вызвали сегодня. Работа в земской больнице отнимала у Георгия Арсеньевича много времени, но он никогда не отказывал в помощи, если его о ней просили. Впрочем, вне больницы у Волина было мало пациентов, потому что старый врач Брусницкий ревниво оберегал свои интересы и вовсе не собирался сдавать своих позиций. У него лечились по большей части богатые помещики и зажиточные горожане, а к Георгию Арсеньевичу чаще всего обращались либо больные, которые не могли осилить гонорарных аппетитов его коллеги, либо те, кто оказался в обстоятельствах, когда позвать на помощь молодого доктора было проще. Весной Волин лечил знаменитого историка Снегирева, несколько месяцев назад вправлял вывих кучеру генеральши Меркуловой, а сейчас направлялся в имение к Одинцовым. Доктор любил ходить пешком, и так как имение находилось всего в трех верстах от больницы, он решил прогуляться. День был солнечный, ясный, но в воздухе уже ощутимо веяло прохладой, как это нередко случается в последнюю декаду сентября. Волин как раз обходил большую канаву, когда его внимание привлек тоненький писк. Наклонившись, Георгий Арсеньевич вытащил из травы крошечного белого котенка. Тот дрожал всем телом, и в его голубых глазах застыл немой вопрос: не обидит ли его огромное существо, пришедшее на его отчаянный зов?

– Что же мне с тобой делать, братец? – спросил доктор вслух.

Котенок жалобно мяукнул. Вздохнув, Георгий Арсеньевич сунул его в карман и двинулся дальше. Через четверть часа доктор был уже у дома Одинцовых.

Волин знал, что в семье имеются отец и мать, но сам он имел дело только с младшим поколением – Евгенией, невзрачной круглолицей блондинкой невысокого роста, и безалаберным Николенькой. Евгении уже сравнялось двадцать пять, а в XIX веке это считалось серьезным возрастом для женщины, которая не сумела выйти замуж. Николенька был на три года моложе сестры, но она обращалась с ним так, словно разница между ними составляла лет десять, не меньше. Родители появлялись в имении редко, и, по слухам, доктору было известно, что каждый из них живет своей жизнью, что у матери есть постоянный любовник, а у отца

даже несколько любовниц. Это отчасти объясняло поведение Евгении – она вела себя по отношению к брату так, как вела бы себя в ее представлении другая, правильная мать, и не замечала, что слишком часто перегибает палку. Она требовала, чтобы Николенька кутался, чтобы не курил, не ездил в город играть в карты, чтобы читал умные книги, умные статьи – хотя бы того же Снегирева, к примеру – и имел собственное мнение по поводу земского управления, успехов химии, внешней политики Российской империи и перспектив воздухоплавания. Но Николенька не любил умные книги – как, впрочем, и любые книги вообще, – не был склонен прислушиваться к чужому мнению, если оно не совпадало с его собственным. В таких обстоятельствах его жизнь с сестрой в одном доме неминуемо стала бы адом, – стала бы, не будь Николенька так очаровательно безалаберен и не обладай он поистине бесценным умением ладить с людьми, даже такими строгими, как его сестра. Что бы Евгения ни предпринимала, ей не удавалось перевоспитать брата и заставить его настроиться на серьезный лад. Кое-как он закончил гимназию, в которой запомнился учителям одними проказами, но с университетом ему вскоре пришлось распрощаться, причем он даже не мог толком объяснить, за что же его отчислили.

– Видите ли, Георгий Арсеньевич, мне просто стало скучно. Просыпаюсь я как-то утром, вспоминаю, что надо идти на занятия, и думаю: а зачем? Так никуда и не пошел, и назавтра тоже, и послезавтра. Потом прошел месяц... или два? И меня, представьте себе, отчислили...

Он говорил и улыбался своей открытой, бесхит-ростной, какой-то детской улыбкой, и доктор поймал себя на том, что вот-вот кивнет и ответит снисходительной репликой в том духе, что Николенька поступил совершенно правильно и в университетах вообще нечего делать.

В тот раз, уйдя от Одинцовых, доктор Волин решил, что Николенька просто никчемный молодой человек, сам доктор при этом был всего на пять лет его старше. Пустое место, и более ничего, сердито думал Георгий Арсеньевич. Вольно ж этому лоботрясу учиться кое-как и бросать университет, когда есть небедные отец и мать, когда можно в любой момент уехать в имение и жить там, ни о чем не беспокоясь!

Одним словом, доктору Волину ужасно хотелось осудить Николеньку и проникнуться к нему презрением, но что-то подобное получалось только на расстоянии, а вблизи Георгий Арсеньевич видел, что Николенька, может быть, и никчемный, но вовсе не такой дурной человек, как могло показаться. «Возможно, если бы не поведение родителей... У его матери роман с промышленником, об их отношениях судачат все кому не лень... Почему мне кажется, что он какой-то пришибленный, что ли? Всегда улыбается, всегда в хорошем расположении духа, всегда готов отпустить шутку или каламбур... Что-то в таком поведении не вполне нормальное... или я фантазирую?»

– Вот, оторвали от дел занятого человека, – произнес Николенька, лучась улыбкой, – а что это за зверь – ваш? – Он показал на котенка, который высунул голову из кармана доктора.

Георгий Арсеньевич спохватился и объяснил, что он нашел котенка и что тот, судя по всему, голоден. Евгения тотчас же вызвала горничную и велела принести блюдечко с молоком.

– Это очень мило с вашей стороны, Георгий Арсеньевич, что вы не оставили живое существо умирать, – заметила она доктору.

Волин слегка поморщился – его собеседница говорила искренне, но отдающие штампом слова «мило» и «живое существо» царапали слух. Впрочем, он не в первый раз замечал, что Евгения подбирает для своих мыслей выражения, которые так или иначе искажают суть того, что она хочет сказать. Например, сейчас она была уверена, что сделала собеседнику комплимент, а получилась довольно высокомерная и шаблонная реплика. Горничная принесла блюдечко, и котенок стал жадно лакать молоко.

– Так зачем вы меня вызвали, Евгения Михайловна? – спросил доктор.

Он был почти уверен, что повод окажется пустячным, и не ошибся. Краснея и то и дело сплетая и расплетая пальцы, Евгения заговорила о том, что она недавно прочитала статью о туберкулезе и что ее беспокоит кашель брата. Николенька время от времени вставлял замечания, которые должны были показать, что его кашель – сущие пустяки и он даже не помышляет заболеть чахоткой.

– Что ж, я полагаю, мы можем пройти в соседнюю комнату, и я вас осмотрю, – сказал доктор.

– Вы очень меня обяжете, Георгий Арсеньевич, – сказала Евгения и принялась нервно гладить котенка.

Доктор Волин едва удержался от того, чтобы не брякнуть: «Замуж бы вам надо, Евгения Михайловна, да не маяться всякой ерундой». Николенька покосился на него, и по тому, как блеснули глаза молодого человека, Георгий Арсеньевич с неудовольствием понял, что тот угадал его мысли.

– Прошу, – суше, чем ему хотелось бы, промолвил доктор.

Когда через несколько минут он вернулся в сопровождении Николеньки, Евгения Михайловна раскладывала пасьянс, а котенок, побродив по комнате, забрался в коробку рукоделием, забытую на полу возле кресла, и свернулся калачиком.

– Ну, что? – с тревогой спросила Евгения, переводя взгляд с брата на доктора.

– Пациент будет жить, – весело ответил Николенька.

– Я не вижу никаких следов туберкулеза, – сказал Волин. – Небольшая инфлюэнца, только и всего. – Он мог бы сказать «простуда», но предпочел слово, звучащее по-ученому. Доктор не в первый раз замечал, что именно такие необычно звучащие слова надежнее всего успокаивали людей.

Он не ошибся: Евгения просияла.

– Вы меня успокоили, Георгий Арсеньевич... В нашем положении... – она покраснела и запнулась, – я хочу сказать, наша семья... И вообще...

– Уверен, наш гость охотно простит твою мнительность, – заметил Николенька с улыбкой.

– Разумеется, – отозвался доктор. – Поверьте, я был бы искренне огорчен, если бы у вас действительно обнаружился туберкулез.

– Я тоже, поверьте, – в тон ему ответил Николенька, подходя к столу. – Восьмерку на девятку...

– Нет, не надо! Николенька!

– Иначе пасьянс не сойдется.

– Он не сойдется, если трогать эту восьмерку!

– Почему? Восьмерку на девятку... а семерку сюда... гм...

– Ну вот, я же говорила! Пиковая дама мешает... И никак ее не обойти.

– А если так?

– Все равно пиковая дама не даст завершить пасьянс, – Евгения в досаде смешала карты и, собрав их, принялась раскладывать снова. – Вы верите в гадания на картах, Георгий Арсеньевич?

– Нет.

– Почему?

– Я, Евгения Михайловна, скучный человек, – улыбнулся доктор. – Я предпочитаю верить в науку. А гороскопы, гадания, кофейная гуца – это, простите меня, несерьезно.

– Даже когда то, что они предсказывают, сбывается?

– Это вам так кажется, – серьезно ответил Волин. – То, что вы называете предсказанием, включает в себя набор самых общих элементов, которые к тому же зачастую можно трактовать по-разному. Кроме того, внимание обычно привлекают гадания, которые хоть как-то совпа-

дают с реальностью, и вокруг них поднимают самый большой шум, а большинство предсказаний, что называется, бьет мимо цели, и о них попросту забывают.

– Наверное, вы правы, Георгий Арсеньевич, – вздохнула Евгения, – и все же... Все же хочется думать, что судьба подает нам знаки... и как-то направляет нас... – Она энергично перетасовала карты, разложила их на столе и, морща лоб, принялась за толкование: – Хлопоты... дорога... король – наверное, Николенька, имеешь в виду ты... А это что? Опять пиковая дама. Не иначе какие-то неприятности. – Евгения недовольно повела плечом и смешала карты. – Простите, Георгий Арсеньевич, я, наверное, вас задерживаю со своими глупостями... Сколько мы вам должны?

– Три рубля, Евгения Михайловна.

– Ах, ну да, конечно...

Она завоzilась, достала кошелек, вытащила из него три рубля и протянула доктору. Всем присутствующим почему-то в это мгновение было немножко неловко. «Вероятно, Павел Антонович Снегирев вывел бы отсюда какое-нибудь шибко умное заключение... В Европе деньги переходят из рук в руки как нечто само собой разумеющееся, а у нас пациент и мнетса, и тянет время, и вовсе не оттого, что ему нечем платить – это-то как раз было бы понятно... И я, получив деньги, стараюсь как можно скорее спрятать их, словно я их украл...»

– А ваш зверь, доктор? – напомнил Николенька, когда Волин, попрощавшись, сделал движение к двери.

Котенок сладко спал среди обрезков ткани. Георгий Арсеньевич посмотрел на него, и замкнутое обычно лицо доктора немного смягчилось.

– Простите, вы, конечно, правы... Я заберу его.

– Он проснется, – тревожно сказала Евгения, глядя на доктора. – Зачем? Знаете что, Георгий Арсеньевич, оставьте его пока у нас. Обещаю, я буду о нем заботиться... А то вы все время в больнице, вам некогда за ним следить... А когда он подрастет, я верну его вам, если вы пожелаете.

– Вы очень добры, Евгения Михайловна, – серьезно ответил доктор. – В самом деле, ему лучше будет у вас, моя работа оставляет мне слишком мало времени... – Он взялся за ручку двери и, вспомнив о чем-то, обернулся. – Представляете, я даже не успел дать ему имя.

## Глава 2

### После метели

Вечером пошел первый снег, и то были вовсе не легкие порхающие снежинки, которые тают, едва коснувшись земли, – нет, в уезд наведалься настоящая ведьма-метель, которая несколько часов кряду сыпала и сыпала белые хлопья. Когда доктор на следующее утро выглянул в окно, он увидел, что клены и сирени, с которых до сих пор не облетели листья, покрыты слоем рыхлого снега. Эта полуфантастическая картина – серо-черные стволы, желтые и багряные листья и всюду белый снег – была бы дорога сердцу живописца, но Волин насупился так, словно увидел своего старого врага, от появления которого не ждал ничего хорошего.

«Для серьезных обморожений, пожалуй, еще не время... Но если какой-нибудь мужик хватил лишку и заснул на улице, то последствия могут быть самыми плачевными...»

Наскоро позавтракав, он направился в больницу, где его уже ждали фельдшер Поликарп Акимович Худокормов и медсестра Ольга Ивановна Квят. В больнице, по правде говоря, работали и другие люди, включая сиделок и сторожа, но именно этих двоих Волин привык воспринимать как своих основных помощников.

Фельдшеру Худокормову недавно исполнилось сорок лет, он происходил из соседней деревни и знал наперечет чуть ли не всех жителей волости, особенности их характера и их болезни. Что касается его внешности, то, если сложить русые волосы, небольшую бороду, нос картошкой и прибавить к этому очень зоркие и все примечающие глаза, вы получите вполне исчерпывающий портрет Поликарпа Акимовича. К положительным качествам фельдшера можно было отнести, в первую очередь, смекалистость, а к отрицательным – излишнюю говорливость. По правде говоря, Георгий Арсеньевич особенно ценил Худокормова за то, что тот не создавал ему проблем: не продавал втихаря на сторону больничный спирт, не занимался лечением больных без ведома доктора и не вносил путаницу в многочисленную документацию, которую вели в больнице.

Медсестре Ольге Ивановне Квят было лет двадцать пять, и она приехала из Петербурга. Блондинка, не то чтобы красивая, но и не дурнушка, она очень мало занималась своей внешностью и оттого редко производила выгодное впечатление. О себе она рассказывала крайне неохотно. Она казалась собранной, профессиональной и чрезвычайно замкнутой, но Волин был далеко не глуп и подозревал, что за ее упорным молчанием скрывается какая-то тягостная – и, вероятно, банальная – житейская драма. Почти каждую неделю она получала письма, которые потом рвала в мелкие клочки, и не раз после этого доктор видел ее с красными глазами.

– Много народу сегодня? – спросил Волин у фельдшера, который вел учет пришедших на прием.

– Никак нет-с, Георгий Арсеньевич. И двух десятков не наберется.

– Пока я буду делать обход, наверняка еще подойдут, – усмехнулся доктор. – Тяжелых нет?

Поликарп Акимович ответил, что таковых не наблюдается, и Волин в сопровождении Ольги Ивановны отправился делать обход.

Желтые стены, серые одеяла на койках, лица, светящиеся надеждой, лица, утратившие ее, температурные листки, сиделки – этот обход был такой же, как всегда, и доктор выписал двух пациентов, в состоянии которых был совершенно уверен.

Потом начался прием больных, и одни пациенты конфузились, рассказывая о своих хворях, а другие, наоборот, впадали в неуместное красноречие и говорили много такого, что вообще не относилось к делу. По характеру Волин был человеком скорее порывистым и резким, но по отношению к тем, кто обращался к нему за помощью, он проявлял удивитель-

ное терпение. Впрочем, сегодняшний прием выдался сравнительно легким: ни одного тяжелого случая, ни одного обморожения, чего доктор подсознательно опасался. Последней в очереди оказалась молодая красивая баба, которая привела свою дочку – худенькую девочку примерного вида с хитрющими глазами. Ребенка в больнице знали хорошо – девочка была сущим бесенком, лазила по деревьям, карабкалась на крыши, постоянно попадала в какие-то приключения и то и дело что-нибудь себе ломала. На этот раз она отделалась сломанным пальцем. Оказав медицинскую помощь, Волин назначил дату следующего приема и повторил ее несколько раз, чтобы мать и дочь не забыли прийти. Выслушав его, баба застенчиво шмыгнула носом.

– Я тут это, – заговорила она сбивчиво, – хотела к вам обратиться... спросить то есть... Это не насчет Кати, а про меня. У меня под мышкой такая штука, я на нее раньше и внимания не обращала, а теперь неприятно как-то... Но я при нем раздеваться не буду! – добавила она, краснея и кивая на фельдшера.

Волин отослал ухмыляющегося Поликарпа Акимовича и попросил пациентку зайти за ширму и снять одежду до пояса. Ольга Ивановна велела Кате пока посидеть на стуле, подождать, пока мама освободится. Девочка села – и замерла, как мышка.

Увидев «штуку», о которой шла речь, Волин потемнел лицом. Он сразу же понял, что это такое. Ольга Ивановна метнула на него быстрый взгляд – она тоже догадалась.

Задав несколько вопросов и ощупав соседние ткани, доктор сказал пациентке, что она может одеваться. Георгий Арсеньевич был мрачен и избегал смотреть на свою помощницу. Катя слезла со стула и подошла к матери, та взяла ее за руку.

– Так это скоро пройдет? – спросила баба, и надежда, прозвеневшая в ее голосе, подействовала на Волина, как пощечина. Он дернулся.

– К сожалению, это не пройдет, – буркнул он, ненавидя себя, и свое личное бессилие, и бессилие медицины вообще.

– Ну что вы, доктор! Конечно, пройдет... Мне еще Катьку замуж выдавать! Вы нашего мельника на ноги поставили, а уж ему-то было куда хуже, чем мне...

Она засмеялась, сверкнув белыми зубами, и тряхнула головой. Чувствуя себя невыразимо скверно, доктор велел Ольге Ивановне выдать болеутоляющее – которое, в сущности, уже никого не могло спасти, как и любое другое лекарство. Не доживет пациентка до свадьбы своей дочери, потому что ее похоронят, а муж-крестьянин, как это часто бывает, скоро найдет себе другую жену. И закончится для Кати привольная жизнь, пойдет сирота, попрекаемая мачехой за каждый кусок хлеба, в батрачки, но тоненькая, слабенькая, не выдержит тяжелой работы, надорвется, рано умрет и обретет вечный покой рядом с могилой своей матери. И ничего, ничего нельзя будет изменить.

– Cancer?<sup>1</sup> – тихо спросила Ольга Ивановна после того, как дверь за пациентками и сопровождавшим их незримым ангелом смерти закрылась с легким скрипом.

Волин дернул щекой.

– Полгода, максимум год, – безнадежно ответил он. – Худокормову не говорите, не стоит.

Фельдшер частенько захаживал в деревенский трактир, где, общаясь с мужиками, нередко разбалтывал поставленные диагнозы. Волин пытался ему внушить, что тайну болезни негоже нарушать, Поликарп Акимович кивал с умным видом, божился, что он больше не скажет ни слова – и все продолжалось по-старому.

– Надо бы дверь смазать, – промолвил Волин с внезапным раздражением. – И чего она скрипит?

Ольга Ивановна вышла, не сказав ни слова, а доктор, досадуя на себя за свою несдержанность, стал заполнять бумаги. Вошел Худокормов, покосился на грозное лицо начальства и, смутно помывшись: «Дело плохо, кто-то неизлечимо болен – неужели Аксинья? У нее же прадед

<sup>1</sup> Рак? (лат.)

до ста двух лет дожил», стал возиться с лекарствами, переставлять склянки. Скрипнула дверь – вернулась медсестра, неся небольшую баночку с маслом, которое аккуратно накапала на петли.

– Ради бога, простите, Ольга Ивановна, – поспешно сказал Волин.

Тень улыбки скользнула по ее бледному лицу. По правде говоря, с самого утра это был первый раз, когда она улыбнулась в его присутствии.

– Ничего, Георгий Арсеньевич, – сказала она тихо. – Я все понимаю.

Поликарп Акимович шевельнул лохматыми бровями, с интересом ожидая продолжения, но его не последовало. Фельдшер вполне искренне уважал доктора за его знания и серьезное отношение к делу, но это вовсе не мешало Худокормову немного презирать Волина – тем особым презрением, которое крепко стоящие на земле деревенские жители испытывают по отношению к городским, инстинктивно чуя их уязвимость, которая возрастает вместе с уровнем цивилизации. В представлении Поликарпа Акимовича доктор и медсестра из столицы были два сапога пара, и он бы ни капли не удивился, если бы они «замутили» роман. Но Волин, к досаде фельдшера, держался в сугубо профессиональных рамках и, по правде говоря, обращал на Ольгу Ивановну не больше внимания, чем на свой стетоскоп.

– Слышали про Анну Тимофеевну-то? – спросил Поликарп Акимович, поняв, что установившееся в кабинете молчание может продолжаться сколько угодно.

– Про генеральшу? – рассеянно осведомился Волин, складывая листы, – а что с ней такое? Заболела?

– Нет, – ответил фельдшер, гордясь своей осведомленностью, – у нее приезжие усадьбу сняли. Какая-то баронесса Корф.

– Я думала, сейчас уже не дачный сезон, – заметила Ольга Ивановна, убирая склянку с маслом.

– У баронессы болен родственник, ему врачи прописали свежий воздух, – объяснил фельдшер. – А генеральша пока во флигель перебралась. Ей приезжие кучу денег заплатили за аренду, но у нее вряд ли много останется, ведь надо платить в банк по закладной. Имение-то давно заложено. Болтают, банк даже грозился его отнять...

– Ну и к чему нам это знать? – вздохнул Волин.

– Я подумал, может быть, вам будет интересно, – спокойно ответил Поликарп Акимович, выдержав его взгляд. – Может, тот больной к вам обратится, по врачебной-то части.

– Скорее уж к Якову Исидоровичу, – усмехнулся Волин. Он отлично знал, как старый доктор Брусницкий умел обхаживать пациентов, сулящих ему прибыль.

– А вы ничем не хуже Якова Сидорыча, – внушительно промолвил его собеседник. – Я бы даже сказал, что вы лучше. Да-с.

Тут, пожалуй, надо сделать небольшое отступление и пояснить один момент. Доктору Брусницкому было за пятьдесят, и первую половину своей жизни он благополучно именовался Яковом Сидоровичем. Но, обзаведясь солидной практикой и разбогатев, он вдруг вспомнил, что его отец звался благородным именем Исидор, а не простецким Сидор, и теперь требовал, чтобы его самого величали Яковом Исидоровичем, и никак иначе. Само собой, все в округе были отлично осведомлены об этом пунктике старого доктора, и те, кто его недолюбливали, не упускали случая его уколоть, употребляя именно тот вариант отчества, который вызывал раздражение Брусницкого.

– Пойду-ка я еще раз взгляну на Фаддея Ильича, – сказал Волин, не желая вступать в бессмысленную дискуссию о том, лучше он или хуже. – Мне не нравится, что у него температура держится и не спадает.

К пяти часам он вернулся домой, и Феврония Никитична, которая убирала у него и готовила, а также немного помогала при больнице, стала разогревать ужин. По возрасту Феврония годилась доктору в матери, и она ни минуты не могла находиться в покое. Всегда, когда Волин

ее видел, она что-то протирала, убирала, мыла или хлопотала по дому. Едва приехав в уезд, доктор спас ее мужа от неизлечимой болячки, и оттого Феврония ощущала к нему нечто вроде личной преданности. Она обо всем знала, все примечала и, бывало, доводила до его сведения нечто такое, о чем не знал или не желал сказать даже всеведущий Поликарп Акимович. Вот и сейчас, например, она сообщила, что доктор Брусницкий ездил вчера за тридцать верст к богатой больной, на обратном пути угодил в метель и простудился.

– Яков Исидорович – человек осторожный, – сказал Волин. – Думаю, вряд ли он серьезно за-болел.

– В постели лежит, кашляет, чихает и ругается на чем свет стоит, – объявила Феврония. – Он очень рассчитывал, что приезжий пациент к нему обратится, но кто ж пойдет к больному врачу?

– Вам-то откуда все это известно, Феврония Никитична? – не удержался доктор.

– А как же, сударь? Племянница моя у него горничной служит, вот от нее я все и знаю.

В дверь постучали, и через минуту вошла Ольга Ивановна, неся небольшой конверт.

– Я взяла на себя смелость отнести вам... Это доставили от доктора Брусницкого.

Волин разорвал конверт. Почерк у Якова Исидоровича был вовсе не каракулистый, как у большинства врачей, а очень даже аккуратный, закругленный и четкий. Волину даже показалось, что в присланной записке он был аккуратнее, чем обычно, и он мельком подумал, что старого доктора, должно быть, душило особенное раздражение, когда он писал.

– Он просит меня навестить вместо него фабриканта Селиванова, – сказал Волин, складывая письмо обратно в конверт. Селиванов был богач, год назад купивший имение в уезде. Он также приценивался к соседнему имению генеральши Меркуловой, и хотя получил от нее отказ, намерений своих не оставил. Раньше Волин видел фабриканта только один раз, на каком-то скучном торжественном обеде, на котором собралось земское начальство и разные нужные люди. Про себя, впрочем, Волин называл их «ненужными людьми», потому что не мог скрыть от себя, что они его раздражают. Он признавал только деятельность, имеющую практический результат, и его выводили из себя сборища сытых господ, которые часами могли вести сытые разговоры обо всем и ни о чем, а затем расходились, довольные собой, друг другом, жизнью и своим местом в этой жизни.

– А что такое с господином Селивановым – несварение желудка от того, что съел очередного ребенка? – желчно спросила Ольга Ивановна.

Доктора настолько изумила нехарактерная для нее горячность, что он мог только пробормотать:

– Простите?

– Он использует на своих фабриках детский труд, – бросила его собеседница. – И некоторые дети, представьте себе, умирают.

Волин смутился. По правде говоря, только сейчас ему пришло в голову, что он ровным счетом ничего не знает о женщине, с которой более полугода работает бок о бок. Может быть, она социалистка? Или коммунистка? Из какой она семьи, кто пишет ей письма, и почему она иногда приходит на работу с красными глазами?

– Впрочем, наверное, вам это неинтересно, – сказала Ольга Ивановна, видя, что Волин медлит с ответом.

Она вышла, и даже подол ее коричневого платья шуршал как-то особенно неодобрительно, словно разделял отношение своей хозяйки. Волин обескураженно поглядел ей вслед. А что, в сущности, он мог сказать? Осудить Селиванова, о котором, если говорить начистоту, почти ничего не знал? Объявить, что развитие промышленности не приводит ни к чему хорошему и что поэтому все фабрики надо закрыть? Сказать, что не фабрики надо закрывать, а совершенствовать законодательство и стремиться улучшать условия труда?

– Вы бы хоть поели, Георгий Арсеньич, – сказала Феврония Никитична. – На ногах с самого утра.

– Да, поем, а потом поеду к Селиванову, – отозвался доктор.

Ольга Ивановна занимала две комнаты в небольшом флигеле при больнице. Почти всякому, кто навещал ее, при виде непритязательной мебели и беленых стен, на которых не было ни единой картины, даже ни одной фотографии, неизбежно приходила на ум монастырская келья. Никаких растений в горшках, вышитых салфеток и тому подобных мелочей, которые способны создать ощущение уюта даже там, где есть только обшарпанные шкафчики и скрипучие половицы. Человеку свойственно приручать пространство, в котором он живет; но женщина, которая поселилась здесь, словно мыслила себя отдельно от окружающего мира – или же не снисходила до того, чтобы вообще придавать ему какое-то значение.

После разговора с Волиным Ольга Ивановна стремительным шагом дошла до флигеля и, затворив дверь, прислонилась к ней. Когда первый порыв прошел, молодой женщине стало мучительно стыдно своей недавней вспышки, – так стыдно, что даже щеки у нее зарделись.

«И зачем я его обидела? Единственный по-настоящему приличный человек среди этих... этих... Даже если бы Селиванов был убийцей, он бы все равно поехал его лечить. Сколько времени он потратил на того мельника, который никак не хотел выполнять врачебные предписания, и ведь вылечил же его, хотя остальные доктора давно отступились... – Она заломила руки и почувствовала, что вот-вот расплачется. – Ах, как нехорошо получилось, как нехорошо!»

Некоторое время она ходила по комнате, пытаясь успокоиться и расстраиваясь все сильнее и сильнее, потом приняла решение сейчас же пойти к доктору и извиниться. Но когда Ольга Ивановна вернулась к домику, в котором жил доктор, она услышала от Февронии, что Волин велел заложить шарабан<sup>2</sup> и только что уехал.

---

<sup>2</sup> Шарабан – разновидность открытой повозки с сиденьями, используемой для поездок, прогулок и т. п.

## Глава 3

### Красный плющ на белой стене

Дорога к усадьбе, которую купил Селиванов, вела мимо имения генеральши Меркуловой, и когда шарабан доктора поравнялся с ее садом, раздался негромкий треск. Кучер Пахом громко высказал все, что он думает о причине треска, о старом шарабане, о своей горемычной судьбе и об этом мире вообще. Доктор, морщась, вылез из экипажа.

– Значит, колесо? – спросил Волин. – Починить можно? Сходи в дом, попроси помощи.

– Я мигом, Георгий Арсеньевич!

Высокая кирпичная стена, ограждающая сад, была покрашена в белый цвет, и с той стороны наружу свисали плети плюща, чьи бордового оттенка листья и почти черные ягоды были присыпаны снегом. Доктор прогулялся вдоль стены, чтобы размять ноги, и неожиданно увидел молодую веточку плюща, которая каким-то непостижимым образом ухитрилась вырасти в горизонтальном направлении, поперек остальных ветвей. Листья на ней были нежные, мелкие, бледно-зеленые.

«Вот так и моя жизнь, – мелькнуло в голове у Волина. – Наперекор всему, не так, как у остальных... Скоро уже зима, а она совсем свежая, как будто сейчас только весна. Впрочем, – тотчас же поправил он себя, – все это вздор. Всего лишь глупая ветка плюща, которая выросла не там и не так, как надо».

Он сделал еще несколько шагов, смутно размышляя о том, почему его не сердит поломка шарабана, из-за которой его визит к Селиванову откладывался, и о том, что когда-то имение генеральши считалось самым красивым и самым богатым в уезде. В то время у Анны Тимофеевны был муж-генерал, прочное положение в свете и три статных красавца-сына, в которых она души не чаяла. Семья Меркуловых слыла хлебосольной, богатой и щедрой, они устраивали званые вечера, праздники, первоклассные охоты и первыми в уезде построили на собственные средства школу для крестьянских детей, но Анну Тимофеевну окружающие почему-то не любили ни тогда, ни после, когда ее муж умер и выяснилось, что финансовые дела семьи вовсе не так хороши, как должны были быть. Все три сына, как это нередко случается в семьях военных, пошли в армию, но служба в ней не пошла им впрок. Старший сын утонул на переправе во время военных маневров, средний ухитрился влипнуть в темную историю с растратой казенных денег и, когда о ней стало известно, застрелился. Какое-то время казалось, что младший, Феденька, любимец матери, будет примерным офицером и не разделит печальную участь своих братьев, но глупейшая ссора с командиром полка и пощечина последнему решили его судьбу. Федор Меркулов был разжалован и сослан на остров Сахалин.

Анна Тимофеевна не собиралась сдаваться. Она писала письма императору, ездила в Петербург к старым друзьям мужа просить помощи, но ее хлопоты не увенчались успехом. Лицо генеральши с крупными твердыми чертами, которое многим знакомым прежде казалось неприятным и высокомерным, приобрело то особенное растерянное выражение, какое появляется у людей, которые не знают за собой никакой особой вины и раз за разом терпят жестокие удары судьбы. Когда закончились деньги, пришлось заложить имение, и уже несколько месяцев уездные сплетники изнывали от любопытства, предвкушая скорую схватку между генеральшей и Селивановым, который жаждал это имение заполучить. Поначалу фабрикант намеревался его купить и счел, что обстоятельства вынудят Анну Тимофеевну согласиться на половину стоимости. Он был крайне удивлен, наткнувшись на категорический отказ, и в раздражении пообещал, что все равно заполучит усадьбу за еще меньшие деньги, когда банк конфискует ее у генеральши за неуплату процентов.

«А ведь он добьется своего, – подумал Волин. – Кто даст в долг немолодой женщине, у которой сын ссыльный? Судя по звукам, колесо уже чинят... Пора возвращаться к шарабану».

Размышления увели его довольно далеко от дороги; та часть стены, возле которой он стоял, уже не была окрашена, и мало того – в одном месте почти осыпалась, так что при желании можно было заглянуть в сад. Георгий Арсеньевич повернулся, чтобы уйти, и машинально бросил взгляд внутрь. В саду возле старого клена, чьи желтые лапчатые листья были присыпаны снегом, стояла молодая красивая дама в бордовом платье и соболином полушубке, которую доктор никогда прежде здесь не видел. Она просто стояла, скрестив руки на груди, и смотрела перед собой, но Волина поразило выражение ее лица: необыкновенно решительное, сосредоточенное и, по правде говоря, таящее нешуточную опасность.

Доктор застыл на месте. У него возникло такое чувство, как будто он только что, прогуливаясь в обычном русском лесу, увидел тигра или ягуара. Но вот из дома женский голос позвал: «Амалия!», и дама повернулась в ту сторону. Прежде, чем уйти, она бросила взгляд в сторону стены и, разумеется, заметила Волина. Георгий Арсеньевич считал, что смутить его нелегко, но в тот момент ему было так неловко, что он предпочел бы провалиться сквозь землю. Незнакомка сухо прищурилась, ослабив свой смертоносный взор, и быстрым шагом удалилась прочь. Прошуршали опавшие листья под ее остроносими сапожками, и только тогда, когда она скрылась из виду, доктор смог перевести дух.

«А я-то хорош! Наверняка она приняла меня за какого-нибудь местного ротозея... И зачем я сошел с дороги? Ждал бы себе у шарабана, пока его починят...»

Глубоко недовольный собой – тем более что он не мог сам себе толком объяснить причину этого недовольства, Волин вернулся к шарабану, и Пахом объявил, что можно ехать.

– Ну так, поехали, – пробурчал доктор, забираясь в шарабан.

Через несколько минут он уже поднимался по ступеням крыльца дома Селиванова. Волина встретила хозяйка, полноватая, благодушная темноволосая дама в пенсне, но по ее остреньким глазкам и некоторым замечаниям он сразу же понял, что она не так проста, как кажется. Муж ее, Куприян Степанович, спустился вниз через несколько минут. Невысокий, скуластый, лобастый, с темной бородой и широкой улыбкой, он производил поначалу впечатление весельчака и бонвивана, но опыт научил Волина, что первое впечатление, как набросок к картине, никогда не бывает вполне верным. Фабрикант носил дорогую печатку, был прекрасно одет и распространял вокруг себя аромат отличных духов, но, несмотря на это, доктор легко представил себе, каким Селиванов был до того, как заработал свои миллионы.

«Мальчик на побегушках, потом, очевидно, приказчик... В юности был худ и вечно недоедал, зато теперь может себе позволить любые деликатесы и весьма пользуется этим...»

Они ушли в кабинет Селиванова, где в камине ярко полыхал огонь, и фабрикант стал излагать свою проблему: у него стал побаливать желудок, хотя раньше Куприян Степанович на него не жаловался. Разговаривая с пациентом, доктор невольно вспомнил слова Ольги Ивановны.

– Полагаю, что пока стоит ограничиться диетой и посмотреть, как ваш желудок будет реагировать, – сказал Волин, осмотрев больного. – Диета не значит, что вам придется есть мало. Диета означает, что продукты должны быть такие, чтобы, если угодно, не доставлять организму лишних хлопот. Вы часто в молодости недоедали?

Куприян Степанович усмехнулся.

– Бывало, что и голодал. Но неужели через столько лет мне все это аукнулось?

– Возможно, – ответил Волин и пустился в подробное объяснение того, что Селиванову можно есть, а чего нельзя. Собеседник слушал его внимательно и порой задавал уточняющие вопросы, но Георгий Арсеньевич поймал себя на мысли, что все равно не доверяет ему.

«Какого черта я тут делаю? Сколько бы я ни говорил ему о бульоне и необходимости отказаться от спиртного, он все равно поступит по-своему... Знаю я этих богатых пациентов, которые свято уверены, что законы природы на них не распространяются!»

Выслушав доктора, Куприян Степанович потянулся за коробкой сигар.

– Вы курите, Георгий Арсеньевич? Берите, не стесняйтесь... У меня самые лучшие сигары, таких даже в столице днем с огнем не сыщешь...

Мужчины закурили и, глядя на дым, поднимающийся к потолку, Волин попытался сформулировать для себя, почему Селиванов все-таки ему не по душе. Неужели только из-за своего богатства и холеного барского вида?

«Пожалуй, не знай я о его состоянии, я бы счел его вполне обыкновенным и даже располагающим к себе человеком... Смех у него заразительный, но вот эти его глаза... Он смеется, а они подстерегают реакцию собеседника... А может быть, все гораздо проще? Что, если я всего-навсего завидую ему, а вообще он довольно симпатичная личность и уж точно вовсе не глуп?»

– А вот Яков Исидорович считает, что желудок-то у меня из-за нервов разгулялся, – вздохнул фабрикант, стряхивая пепел. – Хотя, пожалуй, он не прав. Все началось еще до того, как я узнал о генеральше.

– Вы об Анне Тимофеевне? – машинально спросил Волин. – А она тут при чем?

– Да ведь я рассчитывал по дешевке ее имение заполучить, – криво усмехнулся Селиванов, и в этот момент мало кто уже рискнул бы назвать его симпатичной и располагающей к себе личностью. – А теперь не выйдет-с. Наша генеральша Кислосвездова прознала, что у заезжей баронессы денег куры не клюют, и выклянчила у нее в долг столько, что хватит выкупить имение у банка. Взамен Кислосвездова разрешила семье баронессы жить в усадьбе столько, сколько им заблагорассудится...

Волин не сразу вспомнил, что генеральша Кислосвездова<sup>3</sup> – персонаж одной из малоизвестных вещей Козьмы Пруtkова, запомнившийся фабриканту, судя по всему, лишь из-за своей своеобразной фамилии, так как между персонажем и Анной Тимофеевной не было ровным счетом ничего общего. И еще доктору не понравилось, что его собеседника, человека начитанного и неглупого, прямо-таки корежило от злости, когда он рассказывал о своем поражении.

– Обхитрила меня старуха, – продолжал меж тем Селиванов, недобро щуря глаза. – Кто бы мог подумать, а? Хотя понятно, ради кого она так старается. Про сына ее слышали?

– А что такое с Федором Алексеевичем?

– Ах, ну да, вы тоже не в курсе, – вздохнул Селиванов. – Я и сам узнал только потому, что мне один столичный знакомый проговорился. Помилование господину Меркулову вышло. Блудный сын возвращается с Сахалина. В армию ему, конечно, путь заказан, но ведь штатские тоже живут...

Однако Волин не был настроен продолжать эту тему.

– Приезжая баронесса – это госпожа фон Корф? – спросил он, думая о незнакомке в саду генеральши. – Мне о ней говорили, но я уже забыл, что именно. – Он предпринял отважную попытку солгать: – Кажется, она уже немолода?

– Нет, немолодая – это ее мать, а баронессе лет тридцать, насколько я понял, – отозвался Селиванов. – С ними приехал больной дядя баронессы, брат ее матери, который изводит всех своими капризами. – Фабрикант поморщился и со всего маху швырнул недокуренную сигару в полыхающий камин. – И какого черта им приспичило снять дом именно у старухи? – со злостью спросил он. – Если бы не они, я бы его заполучил уже в этом году...

---

<sup>3</sup> Персонаж комедии Козьмы Пруtkова «Любовь и Силин».

– И вы из-за этого расстроились? – спросил Волин, пристально глядя на своего собеседника.

– У нас с женой две дочери, старшей через пару лет будет семнадцать, и надо думать о приданом, – пожал плечами Селиванов. – Что может быть лучше соседней усадьбы? Все рядом, по-семейному, и зять перед глазами, чтобы глупостей не натворил.

Волин почувствовал, что на сегодня с него хватит общения с сильными мира сего, и решительно поднялся с места.

– Уже уходите, доктор? – спросил Куприян Степанович с удивлением.

– Да, мне надо возвращаться в больницу.

– Ах да, верно! Земство...

Селиванов поднялся, вытащил три рубля и, прежде чем Георгий Арсеньевич успел выразить свой протест, засунул их доктору в карман, словно тот был слугой или половым в трактире.

– Рад был с вами познакомиться, доктор, – сказал Куприян Степанович, глядя снизу вверх на побледневшего от бешенства Волина, который был больше чем на голову выше его. – Я ведь вас еще на том обеде заприметил. Деятели наши несли всякий вздор, а вы молчали... Далеко пойдете, это я вам точно говорю!

## Глава 4

### Разговоры

«Почему я просто не дал ему в морду?»

Ночью снег полностью сошел, а следующий день был полон хлопот. В больнице предстояли две операции, да еще вдобавок в деревне муж зарезал жену, и Волину пришлось ехать на вскрытие. Тем не менее он нет-нет да и задавал себе вопрос, который мучил его со вчерашнего дня.

«Почему я просто не дал ему в морду? Вот черт возьми!»

Ольга Ивановна ходила, шурша платьем, и то и дело бросала на хмурого доктора встревоженные взгляды. Вчера она так и не подыскала удобного случая, чтобы извиниться, и ей казалось, что сегодня Волин мрачен и выглядит раздражительнее, чем обычно, именно из-за ее выходки.

Она начала нервничать, волноваться и уже вечером, после приема, который в тот день затянулся, разбила склянку с бромом<sup>4</sup>, когда ставила лекарства обратно в шкаф.

– Ради бога простите, Георгий Арсеньевич... – пробормотала она, не зная, куда деваться от стыда. – Я... я заплачу.

– Глупости говорите, – буркнул Волин, который, сидя за столом, просматривал карточки, куда заносились сведения о больных. – Еще не хватало, чтобы я из вашего жалованья вычитал... Просто возьмите себя в руки и больше ничего не разбивайте.

«Да что ж он – слепой, что ли?» – подумал фельдшер, изнывая от любопытства. Он взял стопку карточек, которые Волин уже просмотрел, и удалился, притворив за собой дверь. Ольга Ивановна достала веник и подмела пол.

– А насчет Селиванова вы оказались правы, – добавил доктор. – Тот еще фрукт оказался. Ждал, когда Анна Тимофеевна окончательно разорится, чтобы прибрать к рукам ее имение.

Ольга Ивановна замерла на месте.

«Но не это самое противное, – про себя продолжал Волин, – а то, что я взял у него три рубля, и он теперь думает, что он меня купил. Что же мне делать с этими деньгами? Пушу их на лекарства для больницы, в самом деле...»

Он поглядел на бледное, напряженное лицо Ольги Ивановны и подумал, что она неважно выглядит.

– Вы хорошо себя чувствуете? – спросил Волин напрямик. В том, что касалось здоровья, он предпочитал обходиться без окольных путей.

– Я... – его собеседница выдавила из себя улыбку. – Я просто немного устала. Значит, вы на стороне Анны Тимофеевны?

Вопрос был задан, чтобы продлить разговор, но Волин воспринял его всерьез.

– Я? Я, простите, ни на чьей стороне, – пожал он плечами. – Любой может заболеть, и ему понадобятся мои услуги. Да и Анну Тимофеевну я знаю еще меньше, чем господина Селиванова... – Он помедлил, прежде чем задать следующий вопрос как можно более небрежным тоном. – Баронесса Корф – ее родственница?

– Баронесса Корф – петербургская пустышка, – колюче ответила Ольга Ивановна. – И к тому же разведенная женщина. Насколько мне известно, между ней и Анной Тимофеевной нет ничего общего.

---

<sup>4</sup> Препараты с бромом применялись в то время как успокоительное средство. Позже почти все они были выведены из области медицины из-за токсичного характера брома.

Волин с опозданием вспомнил, что говорить с одной молодой женщиной о другой молодой женщине – занятие совершенно бесполезное, и предпочел углубиться в бумаги. Поликарп Акимович простоял с той стороны двери минут пять, прежде чем убедился, что продолжения беседы не будет, и с сожалением вошел.

– К Павлу Антоновичу скоро приезжает гость, – заметила Ольга Ивановна, чтобы хоть что-нибудь сказать.

– Что за гость? – буркнул Волин, не поднимая головы.

– Джонатан Бэрли, англичанин. Кажется, он собирается писать книгу о России и... словом, он обратился к Снегиреву.

– Зачем?

– Статьи Павла Антоновича о России и русском характере переведены на многие языки, – отозвалась Ольга Ивановна с некоторым удивлением. – Думаю, мистеру Бэрли будет что с ним обсудить.

Поликарп Акимович страдал. По его мнению, два взрослых, образованных, достойных человека обсуждали суший вздор вместо того, чтобы поговорить о себе и своих чувствах.

– Боюсь, я не читал статей Снегирева о России, – равнодушно отозвался Волин, убрал последнюю карточку и поднявшись с места. – Видел только его обращение к властям по поводу того бедолаги, которого обвинили в убийстве четырех человек.

– Студента Колозина?

– Да, кажется, так его звали.

– Сейчас идет суд, – сказала Ольга Ивановна. – Не исключено, что Колозина оправдают. Общественное мнение настроено в его пользу, и во многом благодаря хлопотам Павла Антоновича.

Но Волин не был расположен говорить об уголовщине, как, впрочем, и о Селиванове. Направление его мыслей переменялось: теперь его интересовал только один человек – дама в саду, которую, судя по всему, звали Амалией Корф.

«Немка? Но на немку она не слишком похожа... – Он встряхнулся. – И почему я не могу выбросить ее из головы?»

На другой день, покончив со всеми делами, Георгий Арсеньевич велел седлать лошадь и отправился проведать доктора Брусницкого, который жил в уездном центре – городе Александрове.

Старый брюзга был дома, и его морщинистое красное лицо, свидетельствующее о склонности к апоплексии, не выразило ровным счетом никакого восторга, когда горничная доложила, что доктор Волин явился его навестить.

– Коллега! – протянул Яков Исидорович, вкладывая в одно-единственное коротенькое слово пуд иронии, сарказма и бог весть чего еще. – Как это мило с вашей стороны, что вы вспомнили о моем существовании! Кстати, о сем брэнном существовании: я не болен ни воспалением легких, ни даже бронхитом, а всего лишь немного простыл. Кхе, кхе, кхе!

Так что...

– Полно вам, Яков Исидорович, – укоризненно промолвил Волин. – Вы ведь отлично знаете, что в уезде вас никто не заменит.

– Пытаетесь ко мне подольститься? – Брусницкий нахмурил свои кустистые седые брови. – Что это на вас нашло, молодой человек?

– Я видел баронессу Корф, – сознался Волин. – И хотел бы разузнать о ней побольше.

Яков Исидорович закашлялся, и гость поспешно подал ему стакан с отваром, стоявший на маленьком круглом столике.

– Я незнаком с баронессой, молодой человек, – ворчливо заметил Брусницкий. – С чего вы взяли...

– С того, что вы обычно все обо всех знаете. Ну же, Яков Исидорович! Кто она, что она, откуда она и вообще?..

– Она вполне здорова, – хладнокровно отозвался старый врач. – Может быть, вы все же хотите ра-зузнуть о ее больном дядюшке, которому наверняка скоро понадобятся услуги доктора?

– К черту дядюшку! Меня интересует только его племянница.

– Н-да, – вздохнул Брусницкий. – Коллега, простите меня, старика, но таким манером вы никогда не разбогатеете. И если хотите послушать доброго совета, то забудьте о баронессе Корф. Это богатая, пресыщенная дама, у которой куча денег и несколько имений в разных частях Российской империи. Какой-то ловкий лекаришка в Петербурге внушил ей, что ее дяде нужен именно здешний климат, и она привезла его сюда. Анна Тимофеевна непрактичная женщина, но тут даже она сообразила, что своего упускать нельзя... Вы уже ужинали? Впрочем, что вы могли есть в своей больнице... Оставайтесь, мы устроим лукуллов пир... Нет-нет, воз-ражения не принимаются! Вы не представляете, коллега, как мне обидно: лечил тут всех, бук-вально всех, и хоть бы одна собака заглянула, узнала, как сейчас мое здоровье! Только вы и пришли, и то потому, что вам приглянулась пара прекрасных синих глаз...

Волин смутился.

– Я даже не заметил, какого цвета у нее глаза, – признался он.

– Однако вы не поленились притащиться ко мне за столько верст, чтобы расспросить о ней подробнее, – вздохнул Брусницкий. – Коллега, кого вы хотите обмануть? Птица, о кото-рой вы говорите, совершенно не нашего полета. Будь ее воля, она бы не пускала нас с вами дальше передней... Кстати, кто ваш батюшка?

– Дьяк, – помедлив, признался Волин.

– А мой – мещанин из Юрьева-Польского, – хмыкнул его собеседник. – Ей-богу, кол-лега, забудьте вы о ней. Найдите себе симпатичную барышню с хорошим приданым... – Волин нахмурился. – И не надо делать такое лицо, коллега. Вы – земский врач, я – уездный, в нашем мире баронессы если и появляются, то надолго не задерживаются. Я вполне допускаю, что на вас нашла мимолетная блажь, но задумайтесь над простейшей вещью: что вы можете предложить этой богатой даме? Дежурства в земской больнице? Умирающих от оспы мужиков? Свою родню, которая хлебает чай из блюдечка так громко, что слышно в соседней комнате? – Георгий Арсеньевич вспыхнул и стиснул челюсти. – Коллега, верьте моему слову: если из чего-то не может выйти ничего, кроме унижений, лучше вообще не начинать. А теперь, пойдёмте ужинать, и если вы мне скажете, что в жизни встречали лучший соус, чем тот, который нам сейчас подадут, клянусь, я зарежусь скальпелем!

## Глава 5

### Ученый и его семья

Вспоминая на следующее утро свой визит к старшему коллеге, доктор Волин ощутил приступ недовольства. Ему не нравилось, что Брусницкий, которого он по большому счету не уважал и считал большим пронырой, узнал о его интересе к баронессе Корф. Кроме того, Георгий Арсеньевич начал думать, что в какой-то миг у него просто разыгралось воображение, и оттого он стал придавать увиденной в саду женщине слишком большое значение.

Неделя прошла без особых происшествий. Волин принимал больных, лечил, делал операции, общался с Поликарпом Акимовичем, больничными сиделками и Ольгой Ивановной. Однажды она передала ему приглашение на вечер к Снегиревым. Волин собирался отказаться, но почему-то подумал, что туда может заглянуть баронесса Корф, и в последний момент согласился.

Само собой, что, явившись на вечер, Георгий Арсеньевич сразу же понял, что женщина, которую он видел в саду, сюда не придет, и более того – что ее присутствие тут попросту невозможно. Компания у Снегирева собралась пестрая, трескучая и весьма демократическая. Тут была Нина Баженова, отзывающаяся на имя Нинель, свободомыслящая дама неопределенного возраста, с губами, каждая из которых величиной напоминала хороший пельмень. Свободомыслие Нинели заключалось в том, что она по поводу и без повода демонстрировала свою неприязнь к России, хотя прожила тут почти всю свою жизнь, не считая редких выездов за границу, была вполне обеспечена материально и никогда не испытывала никаких притеснений со стороны властей. Помимо Нинели в большой и со вкусом обставленной гостиной собрались Евгения и Николенька Одинцовы, а также смахивающая на шулера личность, которая, однако же, оказалась репортером известной столичной газеты, молчаливый господин – фотограф той же газеты, Ольга Ивановна, сдобная темноволосая дама лет пятидесяти, которая не отрывала круглых птичьих глаз от хозяина дома, жадно ловя каждое его слово, и, наконец, сам Павел Антонович и его домочадцы. Разговор, как это нередко случалось там, где присутствовал Снегирев, шел о России.

– Спор западников и славянофилов – уже вчерашний день, – говорил Павел Антонович. – Даже не так: позавчерашний. Уверяю вас, дамы и господа, пройдет меньше ста лет, и наши внуки уже не будут помнить, о чем, собственно, шла речь и вокруг чего возникали такие жаркие дискуссии...

– Хорошо бы для начала прожить эти сто лет, – заметил Николенька беспечно. Темноволосая дама сердито оглянулась на него, но вскоре заметила, что Снегирев улыбается, и тоже заулыбалась. Молодой репортер слушал, кивая с умным видом, и думал, когда же позовут обедать. Он вместе с фотографом приехал издалека и, хотя и успел сегодня перекусить, все же чертовски проголодался.

– Однако этот спор отражает размышления общества – или как минимум его части – о том, в какую сторону нам идти и каким государством нам, в сущности, быть, – продолжал Снегирев, поблескивая очками и благожелательно оглядывая своих слушателей. – Полагаю, что в той или иной форме данный спор, то затухая, то возобновляясь, будет продолжаться еще долго, очень долго, десятилетия или даже столетия, и, в конце концов, многие позабудут, с чего он начинался...

Павел Антонович отличался невысоким ростом, носил небольшую бородку и не мог похвастать особой красотой, но стоило побыть в его обществе пять минут, как вы забывали обо всех его недостатках. Он определенно был умен, но не пытался подавлять других ни умом, ни авторитетом, ни своими знаниями, ни чем-либо еще. В общении он был очень сердечен,

и многие оппоненты долго собирались с духом, чтобы написать о Снегиреве какую-нибудь крупную гадость, но не выдерживали и откладывали перо. Узок круг русских интеллигентов, и страшно далеки некоторые из них от совершенства, но казалось, что Павел Антонович близок к нему, как никто иной. Он не гонялся за чинами и наградами, ни перед кем не заискивал, не замарался ни в каком сомнительном деле, не занимался травлей коллег или кого-либо еще, жил если не отшельником, то вполне уединенно, призывал милость к падшим и вообще был кристально честен как с собой, так и с другими. Переходя к мелочам жизни, которые иной раз стоят десятка выигранных битв, можно отметить, что Снегирев не держал любовницы, никогда ни на кого не поднял руки, не играл в карты и даже почти не употреблял бранных слов – почти, потому что он их, конечно, знал, но никто их от него отродясь не слышал. В век, далекий от идеала, он ухитрился быть практически идеальным человеком, но доктор Волин не верил в идеальных людей и не доверял им. Ему казалось, что в один прекрасный день непременно выяснится, что даже у столь положительной личности, как Снегирев, имеется какой-нибудь изъян; однако, до сих пор Павел Антонович не подал никакого повода для нареканий.

А пока, пожалуй, единственным, к чему можно было придаться в доме Снегирева, являлась семья последнего. Более четверти века Павел Антонович был женат на миловидной, любящей светлые шелковые платья особе, которая, несмотря на сорок с лишком прожитых лет, вела себя как девочка, жеманилась и говорила тоненьким голоском. Мужа она называла «Павочка», всех уверяла, что ничего не понимает в домашних делах, но строго следила за порядком, и все расходы, вплоть до самых незначительных, записывала в особую тетрадку. Трое детей четы Снегиревых оказались странной смесью отдельных черт матери и отца. Мать называла их непременно уменьшительными именами – «Сашенька», «Наденька», «Лидочка»; старшие уже выросли и в свой черед обзавелись семьями, но даже сейчас редко кто звал их иначе, чем «Сашенька» и «Наденька».

Сашенька был долговязый, с упрямым выражением лица, носил очки и служил в петербургском правлении конно-железной дороги. Наденька рано вышла замуж по любви, вскоре рассталась с мужем, часто приезжала к отцу погостить и выглядела не по годам усталой, разочарованной женщиной. Что касается Лидочки, то из всех трех она была самой очаровательной, и за романтический вид, задумчивость и любовь к чтению ее в семье дразнили «тургеневской барышней» – хотя она была не только задумчивой, но и смешливой, а порой непосредственной, как ребенок. В общем, Сашенька, Наденька и Лидочка являлись самыми что ни на есть обыкновенными людьми, но рядом со столь значительной и известной личностью, как их отец, их обыденность воспринималась чуть ли не как преступление. Волин знал, что сын Снегирева живет не по средствам и часто просит у отца деньги; что Наденька ненавидит своего мужа и его любовницу, разрушившую ее брак; а Лидочка целыми днями читает книги, витает в облаках и упорно держится вдали от любой практической деятельности. Все это было мелко, бескрыло и скучно, и, вероятно, доктор сурово осудил бы Снегиревых, если бы сам себя тоже не считал скучным и бескрылым человеком.

– Когда мы обращаемся к истории, – рокотал Павел Антонович, – а историю необходимо понимать, чтобы понимать сегодняшний день, мы видим, что у того, что принято называть Россией, изначально были другие условия, чем у незначительной части Европы, которая обычно понимается под некой эталонной Европой. Согласитесь, дамы и господа, что, когда вы произносите слово «Европа», вы имеете в виду вовсе не Румынию, к примеру...

– Разумеется, имеются в виду передовые европейские страны, – довольно сухо заметила Нинель.

– Вы сказали «разумеется», но, если вдуматься, ничего само собой разумеющегося тут нет, – отозвался Снегирев. – Наши западники хотели бы, чтобы Россия стала точно такой же передовой и европейской страной, как какая-нибудь Франция, которую они лелеют в мечтах – я говорю о мечтах, потому что в реальной Франции на самом деле хватает своих проблем. А так

как в характере русского человека присутствует категоричность, которую он склонен приносить во все сферы жизни, наш западник обычно не останавливается на утверждении, какой страной Россия должна быть. Ему обязательно надо пойти дальше и объявить, что в своем нынешнем состоянии Россия мало чего стоит, а самый радикальный западник к тому же непременно начнет кричать, что мы держава второго сорта. И вообще, как мы смели побеждать Наполеона, который великий и все такое прочее, да и победой это не назовешь, его победил климат, русская зима и так далее, и тому подобное...

– Простите, Павел Антонович, но я вынужден поставить вопрос ребром, – вмешался репортер. – Так Бородино – победа или поражение?

– Это героическое поражение, равное победе, потому что оно сделало возможным выигрыш всей войны, – серьезно ответил Снегирев. – Россия поняла, что, даже потеряв Москву, она останется Россией. Но я не стану обсуждать сейчас войну с Наполеоном, это тема для целого исследования, хотя я недавно опубликовал статью о состоянии русского общества, его колебаниях до и после Бородино... И, кстати сказать, Михаил Илларионович Кутузов – вовсе не такая однозначная фигура, каким его хотел видеть в своем замечательном романе граф Толстой...

Репортер понял, что к столу позовут не скоро, и смирился.

– Я уже упоминал о русском характере, – продолжал Павел Антонович, – нам свойственна категоричность, которую многие находят утомительной. А еще русскому человеку свойствен, как бы это сказать... стихийный патриотизм, назовем его так. У себя дома русский может смеяться над какими-то официальными проявлениями любви к отечеству, которые ему навязывают, но едва он понимает, что его поведение пытаются каким-то образом использовать против него же, он сразу настораживается. Отдельные заявления западников оскорбили очень многих людей, и оттого возникла потребность в некой теории, которая обосновала бы... так сказать, право России быть самой собой и ни на кого не оглядываться.

– Так у России есть своя миссия или нет? – спросила Нинель Баженова. – Свой особый путь и прочее, о котором говорят эти господа?

– Строго говоря, каждое государство идет своим путем, насколько ему позволяют соседи и исторические условия, – с улыбкой ответил Снегирев. – Но Россия к тому же... Словом, сколько ее ни изучай, она всегда хоть в чем-то остается непредсказуемой. Полагаю, ответ на ваш вопрос может звучать так: да, у России есть свой особый путь, но тот, кто думает, что знает его, заблуждается, потому что не исключено, что его не знает даже сама Россия.

Доктор уже имел прежде дело с хозяином дома как с пациентом, но никак не мог решить, как к нему относиться. Деятельность Павла Антоновича, его рассуждения о России, о русском пути и о русском характере казались Георгию Арсеньевичу чем-то слишком отвлекающим, чем-то, что отдавало шарлатанством. С другой стороны, Волин не мог отрицать, что Снегирев был блестяще эрудирован и совершенно искренне увлечен своим предметом. Солидные газеты и толстые журналы охотно брали к публикации его статьи и хорошо за них платили, но точно так же он писал статьи для менее известных и малоденежных журналов, если они просили его о сотрудничестве. Кроме того, он заступался в печати за людей, которых, как он считал, несправедливо осудили или обвиняли в преступлениях, которые они не совершали. Самым ярким делом последнего времени стал процесс студента Дмитрия Колозина, которого обвинили в том, что он зверски убил свою квартирную хозяйку, ее мужа и детей. Все обвинение против Колозина было построено на том факте, что на момент убийства у него не было алиби, и из газет Волин знал, что как раз в эти дни процесс подходит к концу и скоро будет оглашен приговор. Само собой, что, как только тема России была исчерпана, речь в гостиной зашла о студенте Колозине и о заступничестве хозяина дома.

– Мы живем в эпоху возмутительного произвола! – шумно вздохнула Нинель Баженова. – Куда катится Россия?

– Ну, после того, когда Павочка разоблачил в прессе полицейские методы и то, как велось следствие, Колозина уже не посмеют осудить, – заметила хозяйка дома, улыбаясь гостям.

Волину сделалось скучно. Он отошел в угол гостиной и стал ждать момента, когда можно будет незаметно сбежать, но тут к нему подошла Евгения Одинцова.

– А ваш котенок обжился у нас, – сказала она, блестя глазами. – Николенька назвал его Фруфриком и до сих пор не может объяснить почему.

– Я сто раз тебе говорил почему, – отозвался ее брат. – Потому что он любит взять какую-нибудь бумажку и шуршать ею, пока не надоест. А бумага издает такой звук: фруф! Фруф!

– Все ты выдумываешь, – проворчала Евгения. – Он нитки любит куда больше... А мой брат влюбился!

– Нет! – Николенька покраснел.

– Не нет, а да! – настаивала Евгения. – Каждый день теперь прогуливается возле усадьбы генеральши, чтобы хоть одним глазом увидеть баронессу Корф.

– Да тут больше не на кого смотреть, – пожал плечами Николенька. – Не по Нинели же вздыхать!

Евгения, не удержавшись, фыркнула, но тут же поторопилась принять серьезный вид.

– Интересно, Колозина осудят или нет? – спросила она. – Как вы думаете, Георгий Арсеньевич?

Вместо доктора ответил ее брат.

– Надеюсь, что осудят, – объявил он.

– Ты говоришь так нарочно, чтобы меня позлить, – вздохнула сестра. – Нельзя осуждать человека только из-за того, что у него нет алиби.

– Он ссорился со своей хозяйкой и не платил ей за квартиру, – упрямо напомнил Николенька.

– Но это не значит, что именно он ее убил! Да еще ее мужа и двух детей, один из которых еще в колыбельке лежал... – Евгения содрогнулась. – Взрослых – ну, я еще могу понять... но детей-то за что?

– Это опасная точка зрения, Евгения Михайловна, – негромко заметил доктор. – Получается, вы признаете, что взрослых убивать можно, а детей – нельзя.

– Я вовсе не это имела в виду! – вспыхнула его собеседница. – Я считаю, что, конечно, никого нельзя убивать... Но можно понять какие-то обстоятельства...

– Которые оправдывают человека, нанесшего женщине больше десяти ударов ножом?

Тут Николенька почувствовал, что пора вмешаться.

– Я думаю, вы оба на самом деле считаете, что никого убивать нельзя, – сказал он, успокаивающе улыбаясь сестре. – И вообще, зачем говорить об этом? Есть суд, и пусть он решает, виновен Колозин или нет.

– Если есть суд, я не могу иметь своего мнения? – вскинулась его сестра. – И потом, сколько известно случаев, когда суды ошибаются...

Из другого угла гостиной Ольга Ивановна наблюдала, как Волин разговаривает с Одинцовыми. Ей казалось, что Георгий Арсеньевич очень оживлен, а некрасивая Евгения – чем черт не шутит – увлекает его, а он вовсе не против. На самом деле доктор думал, что он с куда большей охотой оказался бы сейчас возле ограды сада, с которой свисают багряные ветви плюща, и посмотрел бы, гуляет ли в саду таинственная баронесса Корф. Однако вместо баронессы Корф Георгию Арсеньевичу приходилось волей-неволей смотреть на хозяина дома и его гостей, которые, по мысли Волина, никак не могли ее заменить.

Наконец, пришло время садиться за стол, и доктор оказался между Евгенией и темноволосой дамой, которую, как выяснилось, звали Любовью Сергеевной Тихомировой. Она была вовсе не в восторге от того, что ее посадили далеко от хозяина дома, и постоянно вытягивала шею в его сторону, когда Снегирев говорил что-то, смеялся или даже просто ел. Волин

уже успел составить о ней исчерпывающее представление: рядом с ним сидела одна из тех неудовлетворенных натур, которые с легкостью увлекаются модными философскими течениями, пропагандируют новых поэтов, превозносят новые формы в искусстве и, сами неспособные на творчество и на сколько-нибудь оригинальные мысли, постоянно ищут себе некоего духовного поводыря, который выразил бы то, что они хотели бы думать и чувствовать. Сейчас у Любви Сергеевны наступила «эпоха Снегирева»: ей казалось, что именно он даст ей то, чего не хватало прежде, и придаст смысл ее шаблонному существованию. Она жадно внимала каждому его слову, даже замечанию о том, что котлеты сегодня удались на славу, и Волин как-то очень живо вообразил себе, как она вернется вечером в гостиницу и будет записывать в дневнике подробнейший отчет о том, как она провела вечер, с длинными цитатами Павла Антоновича. Разговор за столом вращался вокруг Колозина и его дела, и Снегирев рассказал, как получил от молодого человека отчаянное письмо, которое его тронуло, как заинтересовался расследованием, как хлопотал о встрече с обвиняемым, общался с его матерью, со слезами заклиная Павла Антоновича спасти ее сына, и как пришел к выводу, что тот невиновен в чудовищном преступлении, которое ему приписали. Почему-то Георгий Арсеньевич никак не мог избавиться от ощущения, что Снегирев говорит в большей мере для присутствующего репортера, чем для гостей.

«И что я тут делаю?» – в который раз мелькнуло в голове у доктора.

– Павел Антонович, как вы думаете, Колозина оправдают? – спросил репортер.

– Я совершенно в этом уверен, – ответил хозяин дома. – Посудите сами: орудие убийства не найдено, вещи, пропавшие из дома убитой, – а там были деньги, какие-то дешевые колечки, еще что-то – не найдены... Я бы на месте полиции заинтересовался слугой, уволенным незадолго до убийства. И еще была служанка, которой по странному совпадению не оказалось дома в момент преступления.

– У слуги имеется алиби, – напомнил репортер. – А служанка отпросилась к больной матери.

Молчаливый фотограф вздохнул и принялся изничтожать вторую порцию чудо-котлет, не обращая никакого внимания на бурлящую вокруг него дискуссию. Лидочка тоже молчала и смотрела на узор скатерти, и по ее лицу нельзя было сказать, о чем она думает и думает ли она вообще.

– Да мало ли кто мог убить и ограбить этих бедолаг! – вскричала Тихомирова.

– В самом деле, – поддержала ее Нинель Баженова. – Однако полиции обязательно надо было обвинить бедного студента...

– Колозин вовсе не бедный, – хмыкнул Николенька. – Его настоящий отец был купцом первой гильдии и кое-что оставил по завещанию его матери. По крайней мере, так он мне говорил.

– О, – заинтересовался репортер, – так вы знаете Дмитрия Ивановича?

– Так, самую малость. Мы с ним учились в университете, но друзьями не были.

– Почему же ты мне ничего не рассказывал? – изумилась Евгения. – Такое громкое дело...

– Что я должен был рассказывать – как несколько раз видел его на лекциях и два раза с ним разговаривал? – пожал плечами Николенька.

– По-моему, вы что-то путаете, – решительно сказал сын хозяина дома. – Об отце Колозина известно достаточно, он был скромный мещанин и умер несколько лет назад.

– Значит, Дмитрий Иванович меня мистифицировал, – коротко ответил Николенька, и по его лицу Волин понял, что эта тема ему неприятна.

Хозяин и гости еще несколько минут беседовали о Колозине и его злоключениях, но, когда хозяйка дома поняла, что тема студента уже малость поднадоела присутствующим, она заговорила о предстоящем визите мистера Бэрли.

– Кажется, он пользуется известностью у себя на родине? – спросил репортер.

– О да, он крупный специалист по России, – ответил Снегирев. – Весьма уважаемый человек. Мы переписывались с ним какое-то время, потом он упомянул о своем намерении посетить Россию, и я пригласил его к себе.

– Павочка и не думал, что мистер Бэрли согласится на этот раз, – проворковала хозяйка. – Понимаете, он хотел приехать еще в прошлом году, но что-то его задержало.

– Он разошелся со своей невестой, – пояснил Снегирев. – И ему было не до поездок.

– Ну не то чтобы разошелся, просто она вышла замуж за другого, – усмехнулась Наденька, и даже в этой простой фразе чувствовалось, что она испытывает удовольствие от того, что есть не только брошенные женщины, которые страдают, как она, но и женщины, способные сами бросать мужчин.

– Должно быть, на него это ужасно подействовало, – заметила Ольга Ивановна.

– Полагаю, что да, – сказал Павел Антонович, – хотя англичане замкнутый народ в том, что касается выражения чувств. О том, что случилось, я узнал из оговорки мистера Бэрли в одном из его писем. Но у него в это время даже почерк немного изменился, так что я думаю, что да, ему пришлось очень непросто.

«А ты, однако, разбираешься не только в русском характере, раз заметил, что у совершенно чужого человека изменился почерк, – мелькнуло в голове у доктора. – И почему я так предубежден против Снегирева? Его жена пишит и жеманится, но глаза у нее злые, все примечающие... А Лидочка, хоть и не сказала ни слова с самого начала обеда, если не считать просьбы подать соль, по-моему, в грош не ставит все свое семейство. Нинель Баженова в своем репертуаре, готова придрататься к чему угодно, лишь бы лишний раз обругать власти... Репортер говорил о правосудии и о прочем, но лицо у него холодное, и ему совершенно наплевать, посадят Колозину или оправдают... Ему было бы наплевать, даже если бы студента должны были повесить... Для него трагедия Колозина – лишь материал для статьи по пятаку строчка. Интересно, попросит фотограф третью порцию котлет или нет? Вторая-то уже давно тю-тю...»

Но тут кто-то из присутствующих упомянул баронессу Корф, и Волин весь обратился в слух.

– Я слышала, что ее дядя очень плох и долго не протянет, – сказала хозяйка дома.

– Он, кажется, поляк, – Нинель Баженова разлепила свои губы-пельмени, чтобы процедить эту простую фразу с иронией, неизвестно к чему относящейся. – А она сама далеко не безупречная особа.

– Неужели? – уронила Наденька.

– Мне говорили, что она оставила мужа и что... Ну вы сами понимаете... – Нинель Баженова хихикнула. Как и многие женщины, не вышедшие замуж, она обожала перемывать косточки тем, чья семейная жизнь по каким-то причинам не удалась. – Мужа ведь не оставляют просто так, вы понимаете? Должно быть, дело было в любовнике...

– Не понимаю таких женщин, – сказала хозяйка дома металлическим тоном, посылая говорившей сердитый взгляд. Госпоже Снегиревой не нравилось, что все эти разговоры велись при ее младшей дочери, которую она по привычке считала еще ребенком.

– Ты, мама, вообще ничего не понимаешь, – заметила Наденька, и вновь в ее голосе прозвенело нечто, похожее на зависть к женщинам, которые осмеливаются бросать мужей, не дожидаясь, когда те сами бросят их.

– Кажется, она очень богата, – сказала Евгения. – Мы с братом нанесли визит Анне Тимофеевне, и она познакомила нас с баронессой. Что-то в ней есть... – она поморщилась, – не слишком приятное...

«Ну конечно – ведь она гораздо красивее тебя и одевается гораздо лучше», – мысленно съязвил Волин. Он был раздосадован оттого, что в его присутствии чернили незнакомку из сада, а он не мог ниче-го возразить, потому что сам даже не был ей пред-ставлен.

– Вы слышали, что сын Анны Тимофеевны возвращается из ссылки? – спросила хозяйка дома, решительно меняя тему. – Уже и телеграмму прислал, что на следующей неделе будет дома.

Нинель Баженова тотчас углядела в новости повод, чтобы лишний раз лягнуть власть, и не замедлила им воспользоваться.

– Этого и следовало ожидать, – объявила она и победным взором обвела гостей. – Кому-то грозит пожизненная каторга за убийство, которого он не совершал, а кто-то дал пощечину командиру полка, и нате вам: не прошло и двух лет, как его помиловали.

И тут молчавшая до того Ольга Ивановна удивила Волина.

– А вы, сударыня, жестоки, – сказала она, неприязненно щура свои серые глаза. – Просто жестоки. Значит, по-вашему, человек должен страдать в ссылке вдаль от матери, у которой никого нет, кроме него, за какую-то пощечину? Вы бы тогда были довольны, не правда ли? Довольны?

Как и большинство пылких обличителей, Нинель Баженова сразу же сдулась, почувствовав серьезное сопротивление.

– Собственно говоря, я имела в виду совсем другое... Вы меня не так поняли!

– Я прекрасно вас поняла, – колюче заметила Ольга Ивановна, сердитым жестом бросая на стол салфетку. – Я поняла, что у вас нет сердца, и мне этого вполне достаточно.

«Интересно, будет скандал или нет?» – подумал репортер, изнывая от жгучего любопытства. Но тут все услышали залиvistый смех Лидочки и с изумлением оглянулись на нее.

– Лидочка, что с тобой? – всполошилась мать.

– Так, вспомнила одну смешную шутку из книги, – отозвалась дочь, глядя на нее безмятежным взором.

Угроза скандала миновала, и Любовь Сергеевна почувствовала, что настал благоприятный момент, чтобы овладеть всеобщим вниманием.

– Лично я считаю, – сказала она, напуская на себя томный вид, – что однажды наступит такое время, когда тюрьмы, ссылки и прочие виды наказания станут не нужны.

Павел Антонович усмехнулся.

– Для этого человек должен нравственно измениться, но видите ли, в чем дело: технический прогресс в последнее время развивается бешеными темпами, а нравственный уровень многих людей остается тот же, что и в Средние века. Возьмите хотя бы дело Колозина, о котором мы тут столько говорили. Ведь кто-то же счел возможным убить четырех человек из-за нескольких рублей и пары дешевых колечек...

– Это ужасно, – сказала Наденька больным голосом. Но Волину показалось, что она говорила и думала вовсе не о преступлении, а о своем, о наболевшем, и что не имело к Колозину никакого отношения.

– Так что пока такие злодеяния возможны, общество будет требовать наказания для преступников и мириться с тюрьмами, ссылками и прочим, – добавил Павел Антонович, поднимаясь с места. – И оно, скажу вам по секрету, согласно мириться даже с отдельными несправедливо осужденными, лишь бы в целом система работала без сбоев.

– Ну, Павочка, ты-то точно не дашь никого обвинить безвинно, – промурлыкала хозяйка дома, и хотя ее слова прозвучали как лесть, Волину показалось, что она вовсе не обманывается относительно своего супруга. Молчаливый фотограф оглядел стол и мысленно пожалел, что не успел попросить третью порцию котлет, которые ему очень понравились.

## Глава 6

### Неожиданный пациент

После вечера у Снегиревых прошло несколько дней, и наступил октябрь. Однажды после напряженного дня доктор Волин с комфортом расположился у себя, чтобы прочитать книгу Шарко<sup>5</sup>. Георгий Арсеньевич неплохо знал французский и высоко ставил своего знаменитого коллегу и его работы, но сейчас, когда он читал, его не покидало странное ощущение. Ему казалось, что на самом деле нет ни доктора Шарко, ни Парижа, ни Франции, а есть только бесконечная русская равнина, по которой гуляет ветер, и где-то на этой равнине затеряны унылые деревушки, его больница и дом. Он поймал себя на том, что не помнит, что именно говорилось на предыдущей странице, перелистнул и начал читать заново. Ветер то выл за окнами, как потерявшая хозяина собака, то свистел, как лихой человек. В раздражении Волин отшвырнул книжку, которая перелетела через всю комнату, шмякнулась об стену и упала на пол. Тотчас же доктору стало стыдно – книга, во всяком случае, уж точно была ни в чем не виновата. Он поднялся с дивана, подобрал ее и разглядел помятые страницы, но тут в дверь постучали, и вошла Феврония Никитична, неся в руках конверт.

– Из усадьбы генеральши прислали, – сказала она.

От конверта пахло духами. Доктор распечатал его и увидел незнакомый женский почерк. В письме его приглашали, если он сочтет для себя удобным, приехать завтра в любое время и дать заключение о здоровье некоего Казимира Браницкого, которое внушало серьезные опасения авторше послания. Подписано было «баронесса Амалия Корф».

– Там слуга ждет ответа, – сказала Феврония Никитична. – Что ему передать?

Волин вздохнул и потер рукой лоб. По правде говоря, теперь, когда очное знакомство с таинственной дамой из сада зависело только от него, он вдруг почувствовал себя как-то нелепо и даже глупо.

– Скажи, что я приеду завтра, как только смогу, – проворчал он. – С утра у меня обход и прием больных... Значит, раньше четырех часов никак не получится.

На следующий день в пятом часу вечера доктор уже вылезал из шарабана возле усадьбы генеральши Меркуловой. Лежащая у крыльца большая черно-белая собака, которая от старости уже почти не лаяла и не бегала, безучастно взглянула на Волина и отвернулась.

Баронесса Корф ждала доктора в гостиной. Платье на ней было другое, темно-серое, закрытое, на пальцах и в ушах – ни одного украшения. Доктор подумал, что ей лет тридцать, что она, безусловно, красива, но в красоте ее нет ничего необыкновенного. Вообще, видя гостью генеральши вблизи, он разочаровался. Она показалась ему вполне заурядной, как книга в дорогом переплете и с золотым обрезом, но с неприятным текстом внутри.

Тут он увидел, как блеснули ее глаза, и с некоторым неудовольствием понял, что она тоже оценивает его и взвешивает на неких внутренних весах, призванных определить, что он за человек и как с ним себя держать. Доктору Волину было двадцать семь лет; его высокий рост и широкие плечи наводили на мысли о крестьянском происхождении, но небрежно подстриженные и зачесанные русые волосы, изящные пальцы и выражение лица заставляли думать скорее о художнике или о человеке, занимающемся творчеством. Впрочем, неистребимый запах медикаментов, исходивший от Георгия Арсеньевича, не оставлял сомнений об истинном роде его занятий. Собираясь к баронессе, он постарался одеться как можно лучше, но, как это часто бывает у людей, равнодушных к своей внешности, у него получилось произвести впечатление лишь наполовину; кое-где одежда была излишне мешковата, а кое-где, наоборот, топорщилась.

---

<sup>5</sup> Доктор Жан-Мартен Шарко (1825–1893) – французский врач-психиатр, автор трудов по неврологии.

– Я очень рада с вами познакомиться, доктор Волин, – промолвила баронесса негромким, мелодичным голосом. – По словам Анны Тимофеевны, вы лучший из местных врачей, а нам нужен именно лучший. Видите ли, доктор, мой дядя болен, и несмотря на все принятые меры и консультации у других врачей, ему не становится лучше.

– Вы обращались к Якову Исидоровичу? – сухо спросил Волин, решив не обращать внимания на лестную рекомендацию генеральши, тем более что был уверен, что это наверняка неправда. Люди, которые вызывают вас лечить своего кучера, не станут уверять своих великосветских знакомых, что вы чудо какой доктор.

– Да, он уже был у нас, – Амалия слегка поморщилась, и доктор понял, что Брусницкий чем-то ей не понравился. – Он прописал дяде диету, цыпленка, бульон... и все в таком же роде, наговорил множество ничего не значащих слов о том, что «общее состояние удовлетворительное», что «будущее покажет», и укатил восвояси.

– Вас что-то беспокоит, сударыня? – спросил Волин напрямик.

– Меня беспокоит мой дядя, – отчеканила Амалия, и по ее тону доктор понял, что перед ним женщина с характером, которая не позволит кормить себя неопределенными заверениями. – Он плохо себя чувствует, хандрит, постоянно говорит о смерти, а в Петербурге несколько раз неожиданно падал в обморок. Сейчас ему стало лучше, но ненадолго, и я хочу ему помочь, чего бы это ни стоило. Вот, собственно, и все, доктор, – с некоторым вызовом заключила она.

Волин сказал, что ему нужно осмотреть пациента, и баронесса Корф пригласила его следовать за собой. Больной дядюшка дожидался доктора в одной из соседних комнат. Он сидел в широком кресле, закутавшись в клетчатый плед, а когда выпутался из пледа и встал навстречу доктору, то оказался невысоким кругленьким господином лет пятидесяти, с небольшими светлыми усами и печальным выражением лица. Звали дядюшку Казимир Станиславович Браницкий, и по-русски он говорил без всякого акцента.

– Я оставлю вас, господа, – сказала Амалия после того, как представила мужчин друг другу.

Прошуршало ее платье, и шаги баронессы стихли за дверью. Дядюшка Казимир вздохнул.

– Ну-с, доктор, с чего начнем? – с надеждой спросил он.

Волин задал вопросы о симптомах недомогания, о болезнях, перенесенных прежде, о том, чем болели родители Казимира, и о выводах, к которым пришли предыдущие доктора. Больной вздыхал, хныкал, жаловался на боли и там, и тут, и еще здесь, говорил о бессоннице и о мрачных предчувствиях, но чем больше доктор слушал его, тем меньше верил. В Петербурге Георгий Арсеньевич имел дело с выдающимся диагностом, который мог поставить диагноз, лишь подержав человека за руку; у доктора Волина был другой метод, о котором он, впрочем, никому не говорил – он всегда смотрел больному в глаза и по их выражению инстинктивно понимал, сильно ли тот страдает и каковы его шансы выжить. Так вот, сколько Казимир Станиславович ни напускал туману и ни сотрясал воздух жалобами, глаза у него оставались ясные, безмятежные, отчасти даже иронические, и поневоле доктор пришел к заключению, что перед ним редкостный пройдоха. Для очистки совести Георгий Арсеньевич тщательно выслушал пациента и измерил ему пульс, но только укрепился в своем мнении. Человек, который сидел перед ним и изображал больного, был на самом деле оскорбительно здоров и только зря тратил его время. Дернув щекой, Волин поднялся и молча стал убирать стетоскоп в свой чемоданчик.

– Так мне продолжать сидеть на диете, доктор? – жалобно спросил Казимир. – И что со мной такое? Я скоро умру?

– Полагаю, что нет, – буркнул доктор и, не прощаясь, вышел.

Он вернулся в гостиную, где баронесса Корф сидела в кресле и смотрела на облетевшие мокрые липы за окном. Когда доктор вошел, она тотчас же повернула голову и поднялась ему навстречу.

– Что скажете, Георгий Арсеньевич? Это серьезно? Он ведь выздоровеет, не так ли? В ее голосе звенела тревога, и Волин, уловив ее, досадливо поморщился.

– По совести, сударыня, я не имею права брать с вас деньги за визит, – сказал он серьезно. – Простите меня, госпожа баронесса, но... Ваш дядя совершенно здоров. – Амалия вскинула голову и недоверчиво посмотрела в лицо доктору. Машинально он отметил, что глаза у нее и впрямь не то медовые, не то янтарные, как у тигрицы, с потрясающими золотистыми искорками, которые то вспыхивали, то исчезали. – Он здоров как лошадь, – упрямо повторил Волин, – а для чего он притворяется больным, мне неизвестно. Впрочем, данный феномен известен довольно давно и именуется ипохондрией. Полагаю, сударыня, что вашему дядюшке просто-напросто нравится, когда вы беспокоитесь из-за него, и чем больше вы переживаете, тем больше он чувствует свою значимость.

Произнося это, Волин мельком подумал, что, наверное, надо было преподнести ей новость о здоровье дядюшки в более светской и изящной форме; но доктор не забыл замечание Брусницкого о том, что баронесса и люди, подобные ей, никогда не пустили бы его дальше передней, если бы не необходимость, и оттого не стал выбирать слов. От Георгия Арсеньевича не укрылось, что его собеседница озадачена. Озадачена, но не удивлена. То, что он сказал ей, вовсе не являлось для нее сюрпризом. Интересно, почему? Уж не догадывалась ли она, что дядюшка дурачит ее?

– Это просто поразительно... – вырвалось у баронессы. – Вы... скажите, вы уверены, что все обстоит именно так?

– Абсолютно уверен, – твердо ответил доктор. – К сожалению, с такими мнимыми больными, как ваш дядя, очень трудно иметь дело. Если вы попытаетесь вывести его на чистую воду, он разыграет негодование, упадет в очередной обморок... То есть притворится, что упадет в обморок, потому что вещи такого рода симулировать легче всего...

– Что же мне делать? – спросила Амалия, и нечто, похожее на растерянность, прозвенело в ее голосе.

– Даже не знаю, госпожа баронесса, – устало ответил Волин. – Если человек болен, его можно вылечить; но если он притворяется, никто не может сказать, когда ему надоест изображать больного. Во всяком случае, вы можете не волноваться за здоровье своего родственника. Все его хвори существуют только в его воображении, и я бы даже рискнул сказать, что на самом деле он куда крепче, чем вы или я.

– Я очень рада, доктор, что мне пришлось иметь дело именно с вами, – сказала баронесса Корф, испытующе глядя на своего собеседника. – И хотя вы считаете, что у вас нет права брать с меня деньги, я все же не хотела бы быть вам должной. – Она протянула ему три рубля, и жест этот сопровождался такой бесподобной улыбкой, что, хотя Волин собирался отказаться, он и сам не заметил, как деньги оказались в его руке, и ему ничего не оставалось, кроме как спрятать их в карман. – Я только очень прошу вас никому ничего не говорить, – продолжала баронесса. – Дяде Казимиру нравится думать, что он болен, и если пойдут толки, он может вообразить бог весть что. С него станется решить, например, что на самом деле от него скрывают правду и что ему осталось жить совсем недолго. А так он будет изображать больного, пока ему не надоест, а когда это произойдет, он, вероятно, сразу же выздоровеет. И мы сможем вернуться в Петербург.

Доктор Волин ощутил приступ досады. Ну, конечно же, баронесса останется здесь ровно столько, сколько захочет ее дядя; а что, если он завтра же объявит, что чувствует себя превосходно и все его недомогания прошли?

– Можете не волноваться, сударыня, – пообещал Георгий Арсеньевич. – Я никому ничего не скажу.

Тут в гостиную вошла немолодая дама, чем-то похожая на Амалию, и баронесса представила ее доктору как свою мать Аделаиду.

– Как здоровье моего дорогого брата? – с тревогой спросила дама.

– Все гораздо лучше, чем мы думали, – сказала Амалия, посылая Волину предостерегающий взгляд. – Я тебе потом объясню.

Вызвав горничную, баронесса поручила ей проводить доктора, и Георгий Арсеньевич удалился с чувством, похожим на сожаление.

Выйдя на крыльцо, он услышал лай и увидел, как старая собака из последних сил спешит к человеку в кожаном пальто вроде офицерского и потрепанной фуражке, который вылезал из только что приехавшего экипажа. Подбежав к незнакомцу, она положила передние лапы на пальто и принялась размахивать кренделем облезлого хвоста, как флагом.

– Ах ты, Жучка! – растроганно воскликнул вновь прибывший и погладил ее. – Какая же ты старая стала... Ну, ну, ничего!

Хлопнула дверь флигеля, и в следующее мгновение Волин увидел генеральшу Меркулову. В первое мгновение он даже не узнал ее лица, настолько оно изменилось и словно налилось счастьем. Она выбежала наружу, как была, в темном платье с оборками, и даже не набросила на плечи шаль, хотя было уже довольно холодно.

– Федя! Феденька! Вернулся! – закричала она на весь сад молодым, хватающим за душу голосом и бросилась сыну на шею. – Вернулся! Боже мой, наконец-то, наконец-то! Феденька!

Она и плакала, и смеялась, и ощупывала небритое лицо сына, заросшее щетиной, а потом они обнялись и стояли так долго, не говоря ни слова. Черно-белая Жучка прыгала вокруг них, виляя хвостом, и сипло лаяла. Но тут Федор Меркулов заметил постороннего.

– Мама, что за доктор, зачем? Ты не заболела? – с тревогой спросил он.

Анна Тимофеевна тряхнула головой и вытерла слезы, блестящие на щеках.

– Нет, это... это к нашим жильцам... Я сдала им дом, потому что... – она запнулась, подбирая слова.

– Впрочем, неважно, – сказал Федор, улыбаясь. – Раз ты так поступила, значит, нельзя было иначе... Стыдно признаться, но я ужасно голоден. И кто же сейчас живет в нашем доме?

## Глава 7

### Странные сообщники

Стоя у окна гостиной, Амалия фон Корф смотрела, как Федор Меркулов и его мать идут через сад по направлению к флигелю, а доктор в своем шарабане выезжает за ворота. Когда стук подков утих, Амалия вышла из комнаты и отправилась на поиски своего дяди.

Страдалец Казимирчик, он же мнимый больной, уютно устроился в комнате, примыкающей к его спальне, и был занят делом. А именно, он уничтожал ужин, приготовленный кухаркой Настей. Ужин этот состоял из предписанных Брусницким цыпленка и бульона, а также из блюд, которые, вероятно, не рискнул бы прописать ни один доктор на свете. Когда Амалия вошла, Казимирчик был занят тем, что приговорил к казни расстегаи и один за другим отправлял их в рот, даже не прибегая к помощи вилки. Если в мире и существует совершенное, ничем не замутненное блаженство, то именно оно было написано на физиономии почтенного пана Браницкого. Сладострастно жмурясь, он лакомился расстегаями и, видно, забылся до такой степени, что даже появление в дверях мрачной, как грозовая туча, Амалии не навело его на мысль, что больному приличествует вести себя иначе и уж, во всяком случае, не наслаждаться жизнью настолько откровенно.

– Амн... мнэ... ум... – промычал Казимирчик, и, наконец, проглотив большую часть того, что было у него во рту, сумел сформулировать членораздельно: – Ну, что сказал обо мне доктор?

Амалия пожала плечами.

– Представь себе, он заявил, что ты здоров как лошадь, – уронила она.

Страдающий ипохондрией пан Браницкий в изумлении вытаращил глаза, однако же расстегай дожевать не забыл.

– Это возмутительно, – горестно промолвил дядюшка, косясь на блюдо, на котором осталось всего два расстегая. – Просто возмутительно! У меня нет слов! Я, оказывается, здоров как лошадь! С какой стати, спрашивается? В конце концов, лошадь – особа женского пола. Я и лошадь! Нет, это черт знает что такое! А может быть, – в порыве вдохновения предположил Казимирчик, – он сказал, что я здоров как жеребец? В конце концов...

– Нет, – безжалостно оборвала его Амалия, – он заявил, что ты здоров как лошадь. И точка.

– Отвратительно, просто отвратительно, – расстроено промолвил Казимирчик, протягивая пухлую ручку за предпоследним расстегаем. – Четыре врача, четыре петербургских светила нашли, что у меня не в порядке сердце, легкие, нервы и... Впрочем, при дамах об этом упоминать не стоит... Одним словом, все доктора дали мне понять, что я развалина, дни мои сочтены и я дышу на ладан. Каждый врач выписал мне три-четыре анафемски дорогих рецепта и посоветовал переменить обстановку. Один порекомендовал Карлсбад, другой – Ниццу, третий – Гурзуф, а четвертый велел просто покинуть Петербург, и как можно скорее. И что? Я приезжаю во Владимирскую губернию, хирею, скучаю, питаюсь черт знает чем...

– Вам предписали цыпленка и бульон, – напомнила Амалия стальным голосом.

– Ну, никто не мешает мне съесть их после того, как я покончу с расстегаями и с этим изумительным десертом, – парировал бессовестный Казимирчик, кивая на горку соблазнительных кремовых пирожных, ожидавших своего часа. – Но на что это похоже? Четыре столичных врача, уважаемых человека, сошлись на том, что я тяжело болен... а какой-то земский врач имеет наглость утверждать, что я здоров! Да еще как лошадь!

Он был так возмущен, что съел очередной расстегай еще быстрее, чем предыдущие.

– Дядя, – в изнеможении промолвила Амалия, – я, кажется, ясно просила вас вести себя, как полагается больному, и не подавать повода для подозрений, а вы что? Этот земский врач увидел вас впервые в жизни и сразу же понял, что вы симулируете...

– Я вел себя, как обычно, – сухо ответил Казимир. – И уверяю тебя, точно так же я вел себя с остальными врачами, которые кивали с умным видом, выслушивали меня и всякий раз заключали, что я действительно болен. Что нашло на этого типа из земства – ума не приложу. Очевидно, он действительно хороший врач, и его не проведешь. Гхм! Ну что ж, бывает...

– Тот, кто догадался об одном, вполне может догадаться и обо всем остальном, – проворчала Амалия. – Что, если доктор поймет, что твоя болезнь – всего лишь предлог?

– Думаешь, он помешает тебе втереться в доверие к...

– Дядя!

– Хорошо, хорошо, я все понял. Ни слова больше о... гхм! – Кашлянув, дядюшка сцапал последний уцелевший расстегай и, чтобы выгадать время, с чувством съел его. – Амалия, я всегда говорил тебе: у меня нет никаких способностей, чтобы помогать тебе в чем бы то ни было. Но разве меня кто-нибудь когда-нибудь слушал? Я терпеть не могу врачей и обращаюсь к ним только при крайней необходимости. Поверь мне, я начинаю чувствовать себя больным от одного вида любого доктора, даже если на самом деле мне не на что жаловаться. Я городской житель и не люблю деревни, тем более осенью. А ты заставляешь меня изображать больного, есть бульон и киснуть в этой усадьбе. Я уж не говорю о том, что вся твоя история о больном дяде, которого врачи зачем-то послали дышать воздухом во Владимирскую губернию, вообще не выдерживает никакой критики.

– Сожалею, что разочаровала вас, – сухо промолвила Амалия, которую этот разговор стал уже немного утомлять. – Но мне нужно находиться именно здесь и именно сейчас, и вдобавок чтобы мое пребывание в усадьбе казалось вполне естественным. Больной родственник – очень удобный предлог, так что, дорогой дядя, вам придется пострадать еще некоторое время. А теперь прошу меня извинить, мне надо поговорить с нашей хозяйкой.

– И с чего она взяла, что я хочу страдать? – уронил Казимирчик в пространство, когда дверь за его племянницей затворилась. – Как по мне, в жизни есть масса куда более интересных вещей!

Он вперил задумчивый взор в горку пирожных, прикидывая, можно ли взяться за них немедленно или все же стоит немного передохнуть и съесть цыпленка.

Пока баронесса Корф и ее дядюшка-симулянт вели столь странный и, прямо скажем, подозрительный разговор, доктор Волин трясся в своем шарабане, который вез его обратно в больницу. Подъезжая к зданию, он увидел, что Ольга Ивановна стоит на крыльце, и подумал, что кому-то из пациентов стало хуже; но оказалось, медсестра ждет его, чтобы поделиться новостью, которую он и так знал.

– Федор Меркулов вернулся из ссылки, – сказала она.

Георгий Арсеньевич рассеянно кивнул.

– Знаю. Я видел, как он приехал.

– А Павлу Антоновичу прислали телеграмму из Петербурга, – добавила Ольга Ивановна. – Студента Колозина оправдали.

«Зачем она говорит все это мне?» – со смутным раздражением подумал Волин. Он понимал, что от него ждут какой-то реакции, хотя бы одобрительного восклицания, и его сердило, что он непременно должен быть в восторге от освобождения невинного или интересоваться возвращением человека с Сахалина, хотя процесс Колозина и семейные дела Меркуловых, если подумать хорошенько, никак его не касались. Ольга Ивановна скользнула взглядом по лицу Георгия Арсеньевича и едва заметно усмехнулась.

– Впрочем, мне кажется, вас это совершенно не интересует, – сказала она.

– Вы правы, – резче, чем ему хотелось бы, ответил Волин. – Меня куда больше интересует, что будет с моим пациентом, который сломал позвоночник. Меня интересует, будет ли в следующем году эпидемия холеры, тифа и дифтерита, и если будет, сколько человек она забереет. Кого там убил Колозин или не убил, не имеет никакого отношения к моей жизни и никогда не будет иметь, и я не собираюсь тратить на него свое время.

– А вам не кажется, что вы не правы, доктор? – спросила Ольга Ивановна. Она старалась говорить спокойно, но даже по блеску ее глаз можно было понять, что она задета за живое. – Потому что можно думать об эпидемии, лечить людей и все же немного обращать внимание на то, что творится вокруг. Простите, если вам кажется, что я pouчаю вас, – быстро добавила она, – но я все же думаю, что вы совершаете ошибку.

– Потому что не впадаю в экстаз при новости, что Колозина оправдали?

– Ах, доктор, – устало проговорила Ольга Ивановна, – ну вы же все понимаете! Если бы не заступничество Снегирева, произошла бы чудовищная судебная ошибка, невиновного человека отправили бы в Сибирь и сломали бы ему всю жизнь. И то, что Федор Меркулов вернулся домой, тоже благо, потому что его мать больше не будет изводить себя и мучиться. Не будьте циником, лишь бы показать, как вы отличаетесь от остальных... Это нехорошо, ей-богу, нехорошо!

Ни один человек не любит, когда ему указывают на его заблуждения, и доктор Волин не был исключением. Признаться, первое, о чем он подумал – а не написать ли в управу письмо, чтобы Ольгу Ивановну перевели куда-нибудь и на ее место прислали кого-нибудь другого. Вслед за этой мыслью явилось смутное желание сказать медсестре нечто такое, что поставит ее на место раз и навсегда и отобьет у нее охоту учить его жизни. Но тут Георгий Арсеньевич заметил в окне физиономию фельдшера, представил себе, какие слухи тот может распустить о его беседе с Ольгой Ивановной, и, буркнув, что ему надо идти заниматься делами, удалился.

В кабинете было тепло, большие часы отмеряли время, издавая однообразный щелкающий звук. Волин ощущал глубокое недовольство и, по природе склонный анализировать все движения души, попытался разобраться в его причинах. Он прошелся из угла в угол, заложив руки за спину, хмурясь. Нет, дело было не в Ольге Ивановне и не в ее словах; недовольство он ощутил, еще когда возвращался в больницу, а все почему? Потому что баронесса Корф, о которой Волин навоображал бог весть чего, оказалась вполне обыкновенной женщиной, которую водил за нос ее собственный дядюшка. Вряд ли она сильно отличалась от обывателей, которых он знал – нервной Евгении Одинцовой, ее никчемного брата, стяжателя Брусницкого, Куприяна Степановича Селиванова – фабриканта с психологией кулака и либеральничавшей Нинель Баженовой, которая при всем своем свободомыслии платила прислуге униженно мало.

Но тут Волин вспомнил, как Амалия стояла тогда в саду, скрестив руки на груди, как смотрела перед собой, и заколебался. Он бы дорого дал, чтобы узнать, какие мысли были у нее в голове в тот миг.

«И опять мои фантазии... Но все-таки, почему у нее было такое выражение лица?»

Поликарп Акимович поскребся в дверь и, когда доктор крикнул «Войдите!», с почтительнейшим видом просочился внутрь.

– Что-нибудь случилось? – спросил доктор, бросив на него быстрый взгляд.

– Да как посмотреть, Георгий Арсеньевич, – степенно ответил фельдшер, и, не зная, как приступить к такому тонкому предмету, решил вывалить все сразу. – Бабы меня спрашивают: мол, правда ли, что Ольга Ивановна к вам неровно дышит? А я уж и не знаю, что им сказать.

На всякий случай Поликарп Акимович покосился через плечо на дверь, куда можно было бы спастись бегством в том случае, если бы реакция доктора оказалась слишком бурной. Но Волин, судя по его лицу, не испытывал ничего, кроме вполне естественного удивления.

– Глупостей не говорите, – сухо сказал доктор.

– Да что глупостей? – вскинулся фельдшер. – Она мне шагу ступить не дает, норовит сама выполнять все ваши указания. Сиделки намедни про вас шушукались, так она отчитала их и велела замолчать.

– Да? Что же сиделки обо мне говорили?

– Удивлялись, почему вы до сих пор не женаты, – ответил фельдшер. – И... э... одна болтала, что у вас любовница, только никто о ней не знает, потому что вы ее прячете, а другая говорила, что вы хотите жениться на Евгении Михайловне или на Лидочке Снегиревой, потому и стараетесь не подавать повода для пересудов.

– Тьфу ты! – вырвалось у доктора.

– Вздор, конечно, – поддакнул фельдшер, преданно глядя на него. – Вы бы, если захотели, могли и к дочке Селиванова посвататься...

– Ей по возрасту еще нельзя замуж выходить, – напомнил Волин в изнеможении и, как оказалось, зря.

– Ну так это пока, Георгий Арсеньевич, – жизнерадостно осклабился фельдшер. – Девки что яблоки, зреют быстро...

У доктора остро занял висок. Волин отвернулся и увидел за окном сидящую на дереве молодую сову. Когда все вокруг держат любовниц и считают вполне естественным брак по расчету, очень трудно, попросту невозможно втолковать кому-то, что ты совсем другой породы. «Идеалист ли я? Нет, не идеалист... Просто нравственно брезглив, вот что. И какого черта он приплел сюда Ольгу Ивановну? Вовсе она в меня не влюблена...» Но тут на память Волину пришло множество мелких моментов, которым он прежде не придавал значения, – взгляды Ольги Ивановны, которые он с некоторых пор ловил на себе, ее постоянная поддержка в любых вопросах, касающихся больничных дел, ее готовность сопровождать его к тяжелым больным, которых нельзя было привезти. Даже ее неловкие попытки привлечь его интерес, ее замечания, которые она ему делала недавно, были продиктованы влюбленностью, желанием видеть его лучше, чем он был.

– Дорогой Поликарп Акимович, – сказал Волин серьезно, – я очень благодарен за ваш интерес к моим сердечным делам, но, голубчик, не городите чепухи! Пока я не составлю себе состояния, у меня нет морального права жениться. Вы же сами понимаете: жизнь врача может оборвать любая болезнь, с которой он имеет дело. Что будет с моей вдовой, если я умру от холеры или какой-нибудь другой заразной бестии? Надо сначала крепко стать на ноги, а уже потом думать о браке...

По лицу своего собеседника Волин понял, что отговорка, за которую он ухватился за неимением лучшего, оказала свое действие, и Поликарп Акимович теперь будет считать, что его начальник себе на уме и вообще ему пальца в рот не клади. Если бы доктор сказал правду – а именно, что Евгения, Лидочка и Ольга Ивановна привлекали его не больше, чем Нинель Баженова с ее одутловатым лицом и губами-пельменями, фельдшер бы озадачился и решил, что Георгий Арсеньевич «выделяется»; но упоминание о деньгах не вызывало никаких вопросов. В самом деле, глупо растрачивать себя на мимолетные связи, уж куда лучше скопить капиталец и посвататься к невесте с солидным приданым. И еще Поликарп Акимович подумал, что доктор не обращал внимания на Ольгу Ивановну, потому что метил куда выше. Интеллигенты все такие: считаешь их остолопами, а они возьмут и выкинут фортель, оставив всех в дураках. Как, к примеру, Яков Сидорыч Брусницкий, который и университеты кончал, и либеральничал, и пламенные речи на обедах произносил, а потом выжил предыдущего доктора, забрал уезд в свои руки и стал драть с больных три шкуры. И ладно бы Яков Сидорыч был врач от Бога, так нет же: одного присяжного поверенного лечил от печени, а тот в конце концов умер совсем от другого.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.